ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



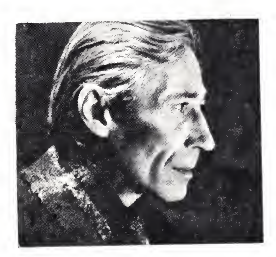
10 (257) ОКТЯБРЬ 1976

Журнал
основан
в
1955
году

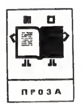
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

Юрий
АБДАШЕВ

ТРОЙНОЙ



ПОВЕСТЬ



1

В пихтовом лесу стоял зеленоватый дымный полумрак. Солнечные лучи раскаленными спицами прожигали толщу густого лапника. Здесь было торжественно, сумрачно и пахло ладаном, как в старом кафедральном соборе.

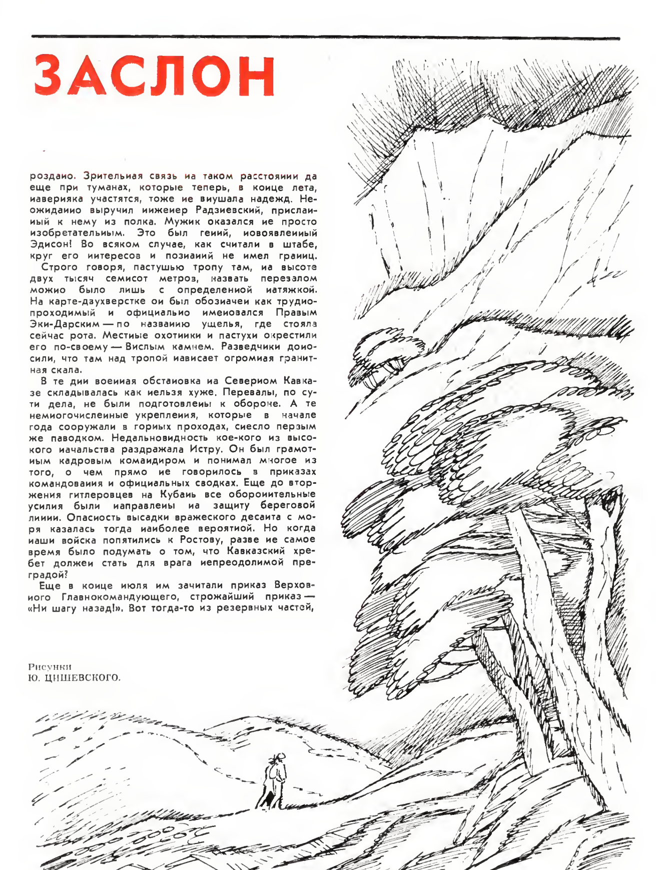
По узкой, битой тропе шли семеро: двое уверенно шагали впереди, четверо, изрядно поотстав, вели под уздцы тяжело навьюченных лошадей, а замыкающий придерживал за ремень висевшую не по-военному, стволом вниз, самозарядную винтовку с оптическим прицелом. Кроме него да еще одного бойца, что тащил на плече ручной пулемет Дегтярева, весь отряд был вооружен автоматами. Тропа круто забирала в гору, и люди шумно дышали. Сказывались и затяжной подъем и непривычка к высоте. К тому же все они были обвешаны туго набитыми вещевыми мешками, скатками, гранатами и котелками.

Старший лейтенант Истру, невысокий, по-девичьи изящный, старавшийся идти в ногу с рослым проводником, задумался. Это не мешало ему, однако, внимательно следить за тропой, за ее замысловатым серпантином. Он слышал, как спотыкаются уставшие лошади, но не спешил с привалом, ждал, когда кончится этот угрюмый лес, поросший голубым лишайником. Оттуда, с опушки, можно будет наконец оглядеть местность на много километров вокруг.

На старшего лейтенанта была возложена не совсем обычная задача. Предстояло подняться на перевал, завалить обходную тропу, сделать ее недоступной даже для вьючного осла, не говоря уж о лошади. Там было приказано оставить троих наблюдателей, обеспечив с ними надежную связь. Но как ее установишь, если от заставы до перевала около десяти километров напрямик, как говорится, по птичьему следу, а в распоряжении Истру нет и метра телефонного кабеля? Все давно расписано и



ЗАСЛОН



роздано. Зрительная связь на таком расстоянии да еще при туманах, которые теперь, в конце лета, наверняка участятся, тоже не внушала надежд. Неожиданно выручил инженер Радзиевский, присланный к нему из полка. Мужик оказался не просто изобретательным. Это был гений, новоявленный Эдисон! Во всяком случае, как считали в штабе, круг его интересов и познаний не имел границ.

Строго говоря, пастушью тропу там, на высоте двух тысяч семисот метров, назвать перевалом можно было лишь с определенной натяжкой. На карте-двухверстке он был обозначен как труднопроходимый и официально именовался Правым Эки-Дарским — по названию ущелья, где стояла сейчас рота. Местные охотники и пастухи окрестили его по-своему — Вислым камнем. Разведчики доносили, что там над тропой нависает огромная гранитная скала.

В те дни военная обстановка на Северном Кавказе складывалась как нельзя хуже. Перевалы, по сути дела, не были подготовлены к обороне. А те немногочисленные укрепления, которые в начале года сооружали в горных проходах, снесло первым же паводком. Недальновидность кое-кого из высокого начальства раздражала Истру. Он был грамотным кадровым командиром и понимал многое из того, о чем прямо не говорилось в приказах командования и официальных сводках. Еще до вторжения гитлеровцев на Кубань все оборонительные усилия были направлены на защиту береговой линии. Опасность высадки вражеского десанта с моря казалась тогда наиболее вероятной. Но когда наши войска попятились к Ростову, разве не самое время было подумать о том, что Кавказский хребет должен стать для врага непреодолимой преградой?

Еще в конце июля им зачитали приказ Верховного Главнокомандующего, строжайший приказ — «Ни шагу назад!». Вот тогда-то из резервных частей,

Рисунки
Ю. ЦИШЕВСКОГО.

из строительных батальонов, из народного ополчения, черт знает из чего еще нужно было наскрести людей и грамотно организовать инженерные работы. Не теряя ни одного часа! А занялись этим только теперь, почти месяц спустя, когда вверх по долинам отходят последние, разбитые, измотанные части, когда враг наступает на пятки, когда на подступах к главным перевалам уже завязываются бои.

Разумеется, старший лейтенант понимал и трудности, возникшие перед командованием армии.

Фронт растянулся на полтораста километров от Белореченского до Клухорского перевала. Части недоукомплектованы людьми, оружием, боеприпасами, туго с продовольствием. А тут еще того и гляди полезут турки. Один знакомый командир, вернувшийся недавно из Кутаиси, рассказывал под большим секретом, что там бродят слухи, будто на границе, за Чорохом, сконцентрировано около двух десятков турецких дивизий. Так что курок взведен, и остается только гадать, когда же современные янычары надавят на спусковой крючок.

Рота старшего лейтенанта Истру насчитывала всего тридцать семь человек. Она расположилась на лесном кордоне, как раз там, где долина одного из притоков Бзыби разделяется на два ущелья — Левую и Правую Эки-Дару. В народе это место называли метко, хотя и довольно прозаически — «Штанами». Штаб полка находился в восемнадцати километрах от кордона в древнем полуразрушенном монастыре. При общей растянутости фронта и глубине обороны это было еще терпимо.

По Левой Эки-Даре, одолев два крутых отрога, можно было выйти к Цагеркеру и Туманной поляне, а оттуда тропами вдоль хребта уже оставалось рукой подать и до Санчарских перевалов. Это направление считалось наиболее опасным, и поэтому Истру вынужден был направить туда основную часть людей.

Среднему комсоставу не были известны директивы Ставки, однако «солдатский телеграф» работал исправно, и для большинства командиров не оставалось секретом, что на важнейших горных перевалах командование намеревается создать прочные узлы обороны и защищать их любой ценой, на другие выслать крупные вооруженные отряды, а все эти Науры, Анчхи, Эки-Дары взорвать, завалить возможные подступы к ним.

И вот теперь люди шли к Вислому камню, в заоблачную высь, чтобы рвать скалы, валить лес за хребтом на северном склоне и потом оставить на водораздельной седловине заслон, который мог бы сообщать вниз о любых изменениях в обстановке и в крайнем случае не дать вражеским разведчикам и диверсантам проникнуть в наш тыл. Для этого из штаба полка прислали взрывчатку и гения пиротехники—лейтенанта Радзиевского, мрачноватого, неразговорчивого человека, у которого на левой руке сохранилось всего два крючковатых пальца — большой и мизинец. Серые глаза его тяжело и холодно смотрели из-под сдвинутых бровей. Ранен лейтенант был, по всей видимости, давно, в начале войны. Об этом можно было судить по тому, как он ловко с такой рукой научился крутить цигарки...

Наконец впереди между стволами деревьев забрезжил свет, и отряд оказался на опушке. Сержант Шония, выполнявший роль проводника, стащил через голову ремень автомата:

— Привал, товарищ старший лейтенант?

Истру утвердительно кивнул и, прислонив свой автомат к дереву, скинул вещевой мешок, расправил узкие плечи.

Впереди, врезаясь в синюю высь, четко вырисовывались снежные вершины. Их ослепительная девственная белизна лишь кое-где была обезображена осыпями и пятнами сколков. Слегка тронутые осенней ржавчиной, простирались альпийские луга. Невдалеке от опушки отдельными купами рос горный клен, строением кроны напоминавший средиземноморскую пинию, знакомую по картинкам в школьных учебниках географии. Созревшие плоды окрашивали его верхушки ядовитой, режущей глаз киноварью. Этот неожиданный отчаянно-красный цвет порождал у Истру ощущение смутной тревоги.

Совсем рядом забряцали удила, послышалась тяжелая поступь лошадей и прерывистое дыхание.

— Веселей ходи! — крикнул Шония.— Привал влево.— Он лег на спину, подложив под голову вещмешок и задрав ноги на сырую замшелую колоду.

Запахло примятой травой, кожей и влажными конскими потниками.

Истру вытащил из потертого чехла бинокль и поднес его к глазам. Горная тропа, по которой они шли все это время, сделалась менее заметной, и проследить ее даже при шестикратном увеличении было довольно трудно. Она вилась по левому берегу ручья, промывшего глубокое каменное ложе, потом перемахивала на другую сторону и начинала круто взбираться вверх по краю плотного фирнового снега на затененном склоне. А вверху, у самой седловины, где камень выпирал из земли наподобие исполинских надгробий, тропа окончательно терялась из виду. Это было дикое нагромождение скал, первородный хаос! Что-то подобное доводилось видеть в Крыму на Кара-Даге, когда перед началом войны Истру с женой ездили отдыхать в Судак. Это был последний отпуск. Где теперь тот Судак, где милая сердцу Одесса, в которой родился и вырос, где его жена и трехлетняя дочь Юлька? С октября прошлого года он не получил от них ни единой весточки. Удалось ли им эвакуироваться, живы ли они?..

Хотя Истру и чувствовал себя неуютно в незнакомых ему горах, он не мог не отметить ту, в некотором роде идиллическую картину, которую являл собой его маленький отряд, расположившийся на короткий привал. Это особенно бросалось в глаза после суматошной, лихорадочной обстановки, что царила в тылу, в прибрежных городах и поселках, где днем над мастерскими не угасали молнии электросварки, а в кузницах сутки напролет стучали и звенели по наковальням тяжелые молоты...

— Харчи берегты трэба,— послышался рядом голос старшины Осталчука.— О так, хлопче.

Истру оглянулся и увидел красноармейца Силаева, который неохотно опускал кинжальный штык, жадно занесенный над банкой сгущенки.

— Рэжим экономии,— поучал старшина.— Тэрпи трохи пока...

— Пока что? — прищурился боец Другов. Это они с Силаевым и Шонией входили в тройку наблюдателей, которым предстояло остаться на перевале.

Лейтенант Радзиевский бросил на парня испепеляющий взгляд.

— Пока не кончится война,— резко, с железными интонациями в голосе заметил он.— Вот так: пока не кончится.

Истру подошел к своему ординарцу со странной фамилией Повод и знаком показал, чтобы тот убрал сухари, которые начал было выкладывать на плащ-палатку.

— Внимание! — Поднял руку старший лейтенант.— Отдыхаем четверть часа. Груз оставить на вьюках, Подпруги не отпускать. Силаеву вести наблюдение за тропой. Пока можно полить. До перевала пять тысяч метров по горизонтали и около тысячи вверх.

Это последний рывок. Осилим горушку — будем отдыхать, будем обедать. Все, в том числе и кони.— Он перевел взгляд с ручного пулемета на щуплую фигуру Другова и добавил: — Пулемет пристройте на вьюках. В нем добрых полпуда, подъем слишком крут.

Другов взял маленькое брезентовое ведерко и побрел за водой. Зачерпнув из ручья, он сделал несколько глотков, мотнул головой, замычал: «Лед!» Выплеснул, снова набрал и подошел к лошади.

— Бильш однией цибарки нэ давать! — крикнул Остапчук.— Кони змэрзли, аж у мыли.

Повод снова уложил продукты в мешок, нехотя поднялся и, забрав у Другова ведерко, пошел к ручью, чтобы напоить остальных лошадей. Другов тут же повалился на жесткую колючую подстилку из сухой пихтовой хвои рядом с Шонией и Силаевым, который приглядывал за тропой. Так и отдыхали двумя группками, только Радзиевский уединился на отшибе. Он снял сапоги и заново перематывал портянки.

Истру подсел к Остапчуку и с удовольствием вытянул ноги в хромовых сапожках, служивших, кстати сказать, предметом постоянного зубоскальства. Что и говорить, тридцать седьмой размер обуви — явление далеко не обычное в солдатской среде. Таких кирзовых сапог и не подберешь. Вот и приходится щеголять в хроме.

Старший лейтенант оглянулся на Радзиевского, который старательно разглаживал складки на портянках, потом перевел взгляд на бойцов заслона и усмехнулся про себя. Разве не странно, что эти ребята, прибывшие несколько дней назад и не успевшие даже свести настоящего знакомства, жмутся друг к дружке. Что же их сблизило теперь? Приказ оставаться на перевале? Единство поставленной перед ними задачи? Нет, видно, сама судьба уже обособила этих людей, предчувствие того общего, что ждет их в будущем, чего не поделишь — это твое, это мое. Теперь у них все спаяно — и жизнь и смерть, все неделимо, все на троих.

2

Вчера на сторожевую заставу Истру прибыли майор — начальник штаба полка, его помощник по разведке капитан Шелест и лейтенант Радзиевский. Весь личный состав построили в одну шеренгу у разлапистого дуба. Нужно было обеспечить связь с далеко разбросанными группами, отобрать людей на Правую Эки-Дару и проследить, чтобы это ответственное задание было выполнено точно и в срок.

Майор быстрыми шагами обошел небольшую шеренгу, коротко, в упор вглядываясь в лица бойцов. Движения его были резкими, стремительными. Потом он вскинул голову и посмотрел на командира роты:

— Так, старший лейтенант, как же фамилия вашего проводника?

— Шония, товарищ майор,— вытянулся Истру.— Сержант Константин Шония.

— Пусть выйдет из строя.

Шония, сложенный, как герой древнего эпоса, сделал два шага вперед. Над верхней губой его темнела бархатная полоска по-юношески мягких усов.

— Шония... Грузин? — спросил начальник штаба, разглядывая классический профиль высокого загорелого сержанта. По всему чувствовалось, любит парень покрасоваться.

— Мингрел, товарищ майор.

— Ну, это все равно. Дети есть? — неожиданно спросил он.

— Двое, товарищ майор.

— Когда же ты успел? Тебе ведь, пожалуй, лет двадцать с небольшим. Так?

— Двадцать три, товарищ майор, и у меня двойня,— ослепительно улыбнулся Шония, а вместе с ним заулыбались и остальные.

— Ничего не скажешь, расцвет творческих сил! — гася усмешку, проговорил начштаба.— Горы здешние знаешь?

— Так точно! До войны инструктором по туризму работал в этих местах.— Он говорил почти без акцента, чуть нажимая на первый слог и растягивая в нем гласную.— Горы — моя родина.

— Что ж, это дело, это то самое, что нам нужно,— удовлетворенно рубанул воздух начальник штаба.— Будешь старшим в заслоне, сержант.

— Есть, товарищ майор!

— Все инструкции получишь у моего помощника — капитана Шелеста.

...И вот теперь Константин Шония легко шагает в голове отряда, будто вовсе и не вздыбившаяся тропа перед ним, а гладкая, ровненькая дорожка, будто и нет за спиной тридцатикилограммового мешка, на шее автомата, а на плече скатки. Истру, шедший следом за ним, видел, как уверенно и свободно ставил Костя ногу, словно пританцовывал: носок — пятка, носок — пятка. Врожденная походка горца.

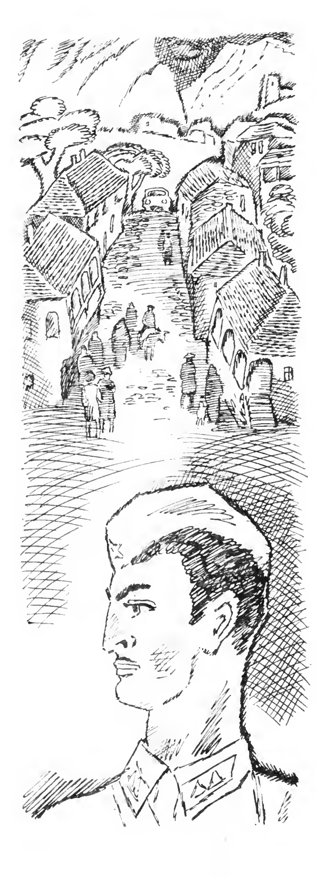
Тропа была настолько крутой, что страшно было остановиться хотя бы на миг, особенно с лошадьми. Казалось, прерви это поступательное движение, эту инерцию взлета, и не удержишься, покатишься вниз до самой границы леса. Но сейчас и люди и животные дышали в едином ритме. Это было тяжкое, прерывистое дыхание. Пот застилал глаза, ныла спина от груза, и кровь пульсировала в висках, отдаваясь в барабанных перепонках звенящим пощелкиванием метронома.

Фирновые поля оставались слева от тропы. Ноздреватый, изъеденный солнцем снег сверкал кристаллической солью. На фоне синего неба надвигавшаяся на них гранитная стена вздымалась мертвым оскалом камня...

Для всех, кроме Константина Шонии, это был хотя и величественный, но чуждый мир, полный враждебности, где каждый куст, каждый камень таили в себе скрытую угрозу. Только Шония чувствовал себя в родной стихии. Здесь парили орлы и рождались облака, здесь начинали свой бег стремительные реки. Торжественный покой гор, прозрачный воздух и светлые потоки, падающие с ледников, очищали душу, настраивали мысли на возвышенный лад. Недаром же древние, побывав в горах, давали им такие поэтические названия, как Поднебесные горы и Крыша мира.

Кавказ — его родина и родина его предков. Здесь Эльбрус — обитель солнца и льда,— поднявшийся над землей выше всех вершин старой Европы. Здесь, в верховьях Риона, невдалеке от селения Амбролаури, был прикован к скале Прометей, грузинский Амирани — античный титан, бросивший вызов богам Олимпа. Здесь и больше нигде в спокойствии и мудрой простоте люди могли прожить две и три обычных человеческих жизни.

Дед Ираклий называл эту землю священной. Костя был комсомольцем и, естественно, в бога не верил, хотя и для Кости земля Кавказа была священной,— вовсе не потому, что два тысячелетия назад некие



гипотетические старцы в длинных хламидах, опираясь на посохи, бродили босиком по здешним каменистым дорогам, как рассказывал дед, а потому, что это была его земля, горячая, как стручок огненного перца, и терпкая, как плоды терновника, земля, где холод талых вод соседствовал с оранжерейным теплом побережья, где дворы пропахли бараниной, жарящейся на мангалах, и ароматом острой приправы из трав и семян. Потому что в Очамчире жила его Нана, родившая ему двух близнецов — Тариэла и Автандила.

Очамчира... Лохмотья коры, свисающей с эвкалиптов, черные покрывала на головах у пожилых женщин с коричневыми веками, наборные ремешки, опоясывающие тонкие станы седобородых старцев, звуки зурны и бубна, доносящиеся со двора, где вторую неделю подряд гуляют свадьбу, и многоголосье гармонически слаженного хора, которое изредка доносит ветерок душной и темной ночью. Это его родина!

Когда Костя уходил из дома, Нана положила ему в сумку красный шерстяной шарф, который связала в последние дни. Сейчас он бесполезно лежал на дне его вещмешка. Слишком не по уставу выглядел бы с ним сержант даже здесь, высоко в горах. Но так ли уж бесполезен он был? Ведь стоило дотронуться до шарфа, и вместе с прикосновением руке передавалось тепло пальцев его Наны. В нем еще жил родной домашний запах. И так ли уж важно, что его не намотаешь на шею? Костю согревает движение, горячая кровь и мысли о молодой жене. А мальчишки, которым совсем недавно исполнился год? Все соседи твердили, что сыновья похожи на него. Какие они теперь? В этом возрасте человек меняется каждую неделю.

Вчера командир роты посмеялся:

— Везет тебе, Шония, одним махом двух пацанов подарил миру. Без брака сработал. А у меня, понимаешь, одно-единственное дитя, и то девчонка.

— Э-э, товарищ старший лейтенант, вам, наверное, кто-то наврал, что на Кавказе девочки не в цене,— ответил Костя.— Наш поэт Руставели сказал: дорог льву его детеныш, будь он львенок или львица...

И вот теперь настал час, когда этому доброму миру грозят разрушение и гибель. Поколеблен извечный покой и попрана мудрость. Люди в серо-зеленых шинелях, оснащенные самым совершенным оружием и первоклассным снаряжением, идут сюда, в его горы, неся с собой неволю для близких и позор родительскому очагу. И кто они, эти люди? Здесь где-то рядом проходит стык двух наступающих вражеских соединений — четвертой горнострелковой дивизии, укомплектованной тирольскими стрелками, для которых горы такая же привычная стихия, и первой альпийской дивизии со звучным названием «Эдельвейс».

Никогда не встречавшись с врагом, представить его себе трудно. Живых немцев Костя видел только однажды, года три назад. Еще школьником он занимался скалолазаньем и альпинизмом, мечтал участвовать в штурме одной из самых труднодоступных вершин Кавказа. Уже тогда ему приходилось водить по маршрутам группы экскурсантов. А тут его вызвал в Сухуми начальник республиканского профсоюзного управления по туризму и сказал:

— Шония, ты молодой, но благоразумный человек. Поезжай в Теберду. Поведешь через Клухорн пятерых немецких туристов. Пойдешь в паре с местным тебердинским инструктором. Обеспечь, я прошу тебя! И чтобы все было хорошо. Запомни, у нас теперь с Германией дружеские отношения. Это, понимаешь, наши дорогие гости...

Немцы как немцы. Такими он их себе и представлял: отлично экипированные, собранные, аккуратные. Двое были художниками. Только рисовали они не красками, а карандашами на красивых планшетах. Умели делать наброски прямо на ходу.

— Краски — это дома,— говорил темноволосый, приземистый крепыш Отто Планечка, единственный из пятерых, прилично объяснявшийся по-русски.— Краски всегда живут здесь,— и он постукивал себя по широкой груди,— в сердце артиста. Если это делать так, как дер натур, получится фото. Цветное фото. «Экзакта», понимаешь?

Аппараты фирмы «Экзакта» Костя уже видел у двоих из этой группы. Одного звали Карл Глюкенау. Имя свое он произносил чуть нараспев, проглатывая букву «р». Получалось очень забавно. Другой был Эдмунд. Имена остальных и вовсе не задержались в Костиной памяти.

Уже в Сухуми Эдмунд подарил ему книжку с прекрасными иллюстрациями. Это была «Песнь о Нибелунгах» в переложении для детей и юношества. Но поскольку книжка была на немецком языке, она так и осталась нечитанной. Восхищали только картинки, изображавшие героев древнегерманского мифа. И если маленький рост, опрятная бородка и кустистые брови делали Планечку похожим на карлика-нибелунга, то Карл Глюкенау, высокий, голубоглазый, аристократически подтянутый, вполне мог сойти за самого Зигфрида.

На прощание Отто вручил Косте карандашный набросок его портрета. Но дома сказали, что Костя на нем не очень похож на себя, и рисунок в конце концов затерялся. Карл обещал прислать фотографии, однако так и не выслал. Видимо, забыл за делами.

Группа тогда шла медленно. Часто останавливались, фотографировались, наблюдали в бинокли за турами, которые словно бы нарочно выставляли себя для обозрения на голых вершинах отдаленных скал. Немцы делали беглые зарисовки и дневниковые записи. Народ в общем-то оказался покладистый, доброжелательный, и идти с ними было одно удовольствие.

И вот только теперь, совсем недавно у Кости стали возникать сомнения, действительно ли эти дотошные немцы были всего лишь невинными путешественниками. В ту пору по Кавказу бродило немало таких групп, особенно среди альпинистов. Немцы ходили по Лабе, Марухе и Зеленчуку. Ходили и по другим рекам. На Эльбрус поднимались. И многие из них, как выяснилось потом, были художниками. Неужели же немцам в такое тревожное время нечего было делать дома? А может быть, под видом туристов в горы Кавказа проникали шпионы-топографы? И кто поручится, что там, за перевалом, эти тирольские части не ведет сюда новоявленный знаток Кавказа немец чешского происхождения Отто Планечка или выходец из Восточной Пруссии белокурый красавец Карл Глюкенау, так и не приславший обещанных фотографий?..

...Скальная стена темно-пепельного цвета уже подступила вплотную, подобно громадному экрану зашторив небесную синеву, заслонив полмира. Слева на пологом склоне виднелось какое-то деревянное сооружение и сложенные штабелем бревна. Отставший от Кости старший лейтенант протянул туда руку:

— Что это?

Шония уже выбрался на широкую площадку у самого подножия скал, усыпанную черным пластинчатым щебнем, и отдыхал, не сбрасывая со спины груза.

— Армянский балаган,— ответил он,— жерди и дранка.

Истру, взбиравшийся по тропе, хотел спросить еще о чем-то, но ему не хватило дыхания. Костя заметил это и пояснил:

— Здесь раньше летом армяне барашек пасли. Там внизу много армян, целый колхоз.

— А что за лес сложен? — наконец выдохнул Истру, показывая глазами на ошкуренные бревна.

— Загон для скота строить собирались,— ответил Шония.— Или, может быть, сыроварню. Кто их знает...

Легкий ветер с ледников быстро сушил взмокший лоб. Ветер нес знобящую свежесть и запах талого снега...

3

— Ну, кто там еще? — спросил майор после того, как Костю назначили старшим в заслоне.

Капитан Шелест протянул начальнику штаба серую картонную папку. Майор открыл ее, что-то пробежал глазами.

— Красноармеец Силаев,— он резко вскинул голову,— два шага вперед, марш!

Из строя вышел круглолицый, розовощекий парень лет восемнадцати. Как у большинства блондинов, кожа его почти не изменила своего цвета под лучами южного солнца. У него были широко расставленные серые глаза, а вздернутый нос пересекала едва заметная поперечная морщинка.

— С пополнением прибыл? — спросил майор, приглядываясь к бойцу.— Откуда родом?

— Сибиряк.

— Сибирь велика, братец.

— Ну, в Енисейске учился, потом работал.— Силаев говорил медленно, растягивая слова.— Отец-мать в тайге живут, фактория там...

— Отец твой охотник, так? Промысловик?

— Ну-у.

— Что это еще за «ну»? Не запряг, а уже погоняешь,— укоризненно заметил помощник начальника штаба.

— Стрелять, стало быть, можешь? — спросил майор.

— А чего хитрого?

— На язык ты не больно горазд. У вас что, все там такие?

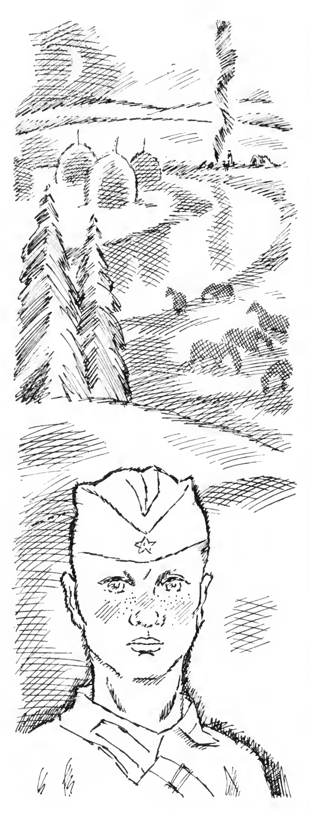
— Да вроде.

— Дать бы ему снайперскую винтовку,— сказал начальник штаба.

— Винтовка есть, товарищ майор,— приложил ладонь к козырьку Истру.

— Добро, пусть дерзает. Думаю, это будет именно то, что надо...

Возражать Силаев не стал, да и духу у него не хватило б. Не мог же он вот так, прямо признаться, что родившийся в тайге сын охотника-промысловика не только в глаза не видел оптического прицела, но и нарезное оружие держал в руках лишь при стрельбе из малопульки в небольшом школьном тире. Была у него берданка шестнадцатого калибра. В конце лета ходил он с ней иногда на болото бить уток, но баловался ружьишком нечасто, потому что когда через их места валом шла перелетная птица, гнездовавшаяся в таймырской тундре, ему уже пора было уезжать к бабке Феодосии Федоровне на культбазу. При фактории, где жили родители и две замужние сестры, никакой школы не было.



Да и где было заниматься серьезной охотой? На промысел отец уходил только в начале зимы, когда таежные речки и мари сковывал крепкий лед. Брал с собой двух рыжих звенкийских лаек — Тайгу и Яра, а на горб — мешок муки, да котомку с солью. Уходил далеко на зимовья. Бродил на лыжах по кедрачам, по еловому краснолесью с винтовкой, промышляя куницу, белку, а иногда и соболя. Правда, в последние годы соболь попадался все реже, и отец побаивался, как бы этот ценный зверь вскорости и вовсе не перевелся в тамошних исконных местах.

До окончания четвертого класса Федя Силаев каждую зиму проводил на Культбазе, до которой от фактории было добрых полтораста километров. Потом перебрался к дядьям в Енисейск, учился в семилетке. Звезд с неба не хватал, считался тугодумом. Из-за этого дважды оставался на второй год. Но уж если что входило в его сознание, то задерживалось там прочно. А летом, когда Федя приезжал домой на каникулы, отец охотой не занимался, помогал матери по хозяйству. Вместе с отцом Федя чинил крышу, ладил новый забор, ездил на старую речную заимку косить сено для пегой коровы Насти.

На сенокос обычно выезжали затемно. Там кипятили на костре чай, ждали рассвета. Иногда Федя уходил по косе к самой лесной закраине. Как обычно, увязывалась за ним общительная и отзывчивая на ласку Тайга. Взрывая когтями сырой песок, она мчалась впереди, остроухая, с поднятым по ветру носом. Возбуждаясь, Тайга отрывисто взлаивала, как щенок, играющий в верховую слежку. Потом садилась и нетерпеливо ждала его, шевеля серповидным хвостом.

Медленно текло время. Светлая полоска на востоке начинала постепенно зеленеть, делаясь похожей на тихую заводь. Одна за другой гасли звезды. Казалось, они не гасли, а таяли, как тают весной хрупкие льдинки. Топкое моховое болото, подковой огибавшее заимку, превращалось в округлое озеро, до краев наполненное парным молоком. Старые осины, словно фигуры рыболовов в огромных накомарниках, замерли по пояс в странной молочной воде. Легкие перистые облака подкрашивались бледно-розовым брусничным соком. Зудел над головой докучливый гнус. Туман, прежде лежавший на болоте плотным покровом, теперь начинал клубиться, принимая самые причудливые очертания. Отдельные клочья его воровато перебегали через косу и прятались за кустами. Бесшумно скатывались с листьев капли холодной росы. Пахло торфяником, речной свежестью и дымком отдаленного костра.

На душе было празднично и светло. Начало нового дня Федя воспринимал как собственное рождение. Это чувство было тем сильнее, что по складу своего характера он ни с кем не мог разделить его. Он вообще был необщительным и малоразговорчивым парнем. Возможно, эта замкнутость была унаследована от предков-охотников. Ведь у них умение молчать шло по одной цене с сухим порохом, твердой рукой и верным глазом. Однако все это не мешало пареньку живо чувствовать свое единение с окружающим миром. Он даже несколько раз пытался писать, передать на бумаге свои ощущения и мысли, но пока ничего путного из этого не получалось.

В отличие от большинства людей он воспринимал окружающее не целиком, не панорамно, а как бы дробно, в деталях. Бабушкин дом на Культбазе был не просто бревенчатой избой-пятистенкой. Прежде всего это были запахи. Уютный дух сдобного теста, лампадного масла и сохнущих на печке катанок —

особый запах мокрой шерсти. А кедровник на увале невдалеке от фактории, куда огольцами они бегали выбивать из шишек орехи, Федя восстанавливал в памяти через звуки, хотя запахов в нем было хоть отбавляй. Лес этот никогда не шелестел в отличие от березняка или осинника. В острых хвоинках, в мощных колоннах стволов ветер тихо посвистывал, а иногда звенел примерно так же, как звенит в туго натянутых телеграфных проводах. Даже снег, как ни странно, был связан у него именно со звуками: с хрустом под ногами в мороз, с дробным постукиванием о стекло во время пурги и с мелодичным треньканьем в первые дни апрельской капели.

После седьмого класса Федя не захотел учиться дальше, но возвращаться в факторию не имело смысла. Маленький Енисейск казался ему тогда единственным окошком в огромный неведомый мир. Он поступил учеником слесаря в судоремонтные мастерские, подрабатывая грузчиком на речной пристани.

В местах, где прошло раннее детство Федора Силаева, надолго задержались старые, оставшиеся от дореволюционной поры названия. Все эти фактории, заимки и зимовейки, мало что говорящие жителю города или выходцу из Центральной России, были естественны для коренных сибиряков, особенно в глубинке. Когда-то факторией называлась торговая контора, обычно иностранная, куда эвенки и русские промысловики сдавали пушнину в обмен на продукты, порох и мануфактуру. Теперь это название применялось по отношению к кооперативным заготовительным пунктам и к небольшим, возникшим вокруг них поселениям.

В борьбе с суровой природой обитатели факторий обособлялись в изолированные, устойчивые сообщества людей, обладающих хладнокровием и отчаянной решимостью в критических ситуациях. И если судьба отрывала такого человека от родных мест, качества эти нередко задерживались в его потомках вплоть до третьего поколения...

...Федя Силаев выбрался на площадку последним. Шония, старшина и ординарец Повод уже развьючивали лошадей.

— Студэнт, чого рассився? — прикрикнул на Другова старшина Остапчук.— Понабралы сачкив, доси обмотки мотать не навчився.

Другов сидел на кочке и бинтовал тощую голень побуревшей от солнца и пыли трикотажной обмоткой.

— Ладно,— примирительно махнул рукой командир роты,— пусть сходит к тому балагану, посмотрит, что там за бревна. Может, труха одна.

Покончив с обмотками, боец легко вскочил с кочки и едва удержал равновесие. Груз, который в течение всего пути отчаянно тянул его назад, приучил Другова чуть сгибаться, уравновешивать силу тяжести наклоном корпуса. И теперь, освободившись от ноши, он ощущал себя словно бы в невесомости. Казалось, оттолкнись посильнее — и воспаришь над долиной Эки-Дары подобно птице.

— Да не валите все в кучу,— подошел к лошадям Истру.—Продовольствие отдельно, боеприпасы отдельно. Силаев, помогите лейтенанту развьючить гнедого. Там взрывчатка. Коней потом отвести на поляну и стреножить.

— С теми переметными сумами поосторожней,— предупредил Радзиевский,— там детонаторы.

Истру дотронулся до плеча Шонии.

— Что это за пик справа от перевала? — спросил он, показывая на величественную остроконечную пирамиду, возвышавшуюся над остальными вершинами. Ее белизна слепила.

— Пшыш. Ближайший четырехтысячник,— ответил сержант, разгибая спину.— Почти четырехтысячник. Считают, метров двести недобрал.

Мешки, набитые желтыми брусками тринитротолуола, похожими на печатки хозяйственного мыла, Силаев волоком тащил к тому месту, на которое указал ему Радзиевский. Истру вытягивал из-под вьюков тяжелые ломы, пилы, топоры, кирки и лопаты. Шония снял с лошади какую-то непонятную штуковину, отдаленно напоминающую миномет — обрезок четырехдюймовой трубы, у которого с одной стороны был приварен стальной фланец.

— Что это? — спросил Костя.— Новое секретное оружие? — Его желтоватые, чуть навыкате глаза с недоумением уставились на диковинный предмет.

— Самовар системы Радзиевского,— усмехнулся старший лейтенант,— заменяет рацию и полевой телефон. В обращении прост, как кувалда, и надежен, как лом.

Радзиевский, уловивший в словах командира роты легкую иронию, тоже усмехнулся. Но что это была за усмешка! Вымученная, как гримаса боли. Странный все-таки человек этот лейтенант.

Вернулся Другов. Подбежал к командиру роты, вытирая лоб вывернутой наизнанку пилоткой.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить: бревна как новенькие, только почернели немного.

Истру молча кивнул, и Другов тут же бросился помогать Силаеву. Вдвоем с Федей они подтащили третий мешок с толом к неширокому проему в скальной гряде, образовавшемуся от выветривания и размыва вертикальных пластов черного сланца. И тут Кирилл Другов остановился, чуть не задохнувшись от восторга.

На северо-западе, врастая в поднебесье, сверкал вечными снегами Аманауз. А здесь рядом выпирающие из седла скалы тускло светились красными и коричневыми мхами. Только Вислый камень одиноким отстанцем маячил чуть в стороне. Площадка возле него, на которой стоял Кирилл, обрывалась тремя большими уступами в пологую воронку ледникового цирка. Глубокая промоина под косым углом рассекала все три скальные ступени. По дну ее сбегала вниз едва заметная тропинка, терявшаяся в пестроте альпийского луга. Там густо росли только травы-карлики, и от этого луг напоминал недавно подстриженный газон. Гребень хребта, двумя крыльями охвативший чашу цирка, ощетинился толстыми, изломанными плитами сланца, образовав что-то вроде естественного парапета. С левого крутого склона длинным языком сполз трещиноватый ледник.

Плотный слежавшийся снег забил узкую теснину в скалах, и из-под его заледеневшей толщи неслышно отсюда вырывался буйный поток, кипевший среди бараньих лбов и в небольших водопадах.

Дальше виднелось кривое редколесье, а за ним темно-лиловой, почти черной гранью вставал окоем хвойных лесов. В горизонте здесь не было привычной акварельной размытости. Это создавало ощущение прозрачности и глубины. Очертания хребтов, переходы цветов и оттенков воспринимались четко и резко, как на детской аппликации.

— Не люблю оци горы,— вздохнул за спиной Другова старшина. Он отдыхал, по примеру Шонии скинув ремень и расстегнув гимнастерку.— Зажало тэбэ, як у том гробу. Ниякого простору душе.— Его коротко постриженные рыжеватые усы презрительно топорщились.— Ото степ... Грудь сама дыше!

— Ничего ты не понимаешь, Остапчук,— метнул на него гневный взгляд Костя.— Я в вашей степи, э-э, чувствую себя маленьким и несчастным, как по-

терянный на базаре ребенок. Равнина, она, понимаешь, пугает. Это та же бесконечность. Ночью в небо смотрел, да? Страшно было?

— Страшно? — Осталчук расхохотался громко и искренне.— Страшно... Страшно, колы ведмидь на тэбэ лрэ, а у тэбэ колуи або полино замисть винтовки. Силаева спытай, вин знае... А иэбо що, там зирки, як свичечки, и мисяць, як той рожок.

— Рожо-ок! — Костя даже сплюнул с досады.— Темный ты человек, Осталчук.

— Но-но, сэржант Шония! — Старшина расправил плечи и даже как-то горделиво подбоченился.— Не забывай, с кем говоришь.— Он пощелкал по своей петлице с четырьмя треугольничками.— И ворот застебни. Тоже той... начальник караула, примэр бойцам подаешь...

В этом споре Другов разделял точку зрения сержанта. Степь всегда нагоняла на него скуку. Горы выглядели куда разнообразнее и красочнее. В них была объемность, высота и глубина — то самое третье измерение, которого не знали равнины.

После обеда и короткого отдыха принялись за дело. Радзиевский не спеша обошел нависающую над тропой скалу, то и дело останавливаясь и что-то прикидывая в уме. Он оглаживал скалу ладонью, словно ваятель нетронутую глыбу мрамора, отмечая что-то кусочком сланца на ее шероховатой поверхности.

— Это не гранитная скала,— заметил лейтенант, как бы рассуждая вслух.— Типичный порфирит, тоже крепкий орешек. Наша седловина образовалась из-за того, что сланец гораздо податливее этой породы и больше подвержен разрушению.

Приступив к своим обязанностям, Радзиевский обрел дар речи. Истру молча, с уважением наблюдал за его действиями. В темных глазах командира роты можно было прочесть живое любопытство.

— Взрывчатки хватит? — спросил он осторожно, точно боясь вспугнуть мысли сапера.

— Не в этом дело,— ответил Радзиевский.— Скалу надо положить так, чтобы она загородила тропу, легла на первый уступ. Иначе, если махина эта разлетится вдребезги и скатится вниз, работа наша не будет иметь никакого смысла. Все три места, где надо бить камеры для зарядов, я пометил.

Истру собрал весь небольшой отряд:

— Слушай приказ! Лейтенант Радзиевский, Осталчук и Силаев будут долбить шпур в скале. Я и Повод отправимся к балагану. Надо растащить его и перетаскать сюда бревна для штабеля. Что-то сгодится для блиндажа, что-то на дрова пойдет. Через два часа мы подменим Осталчука и Силаева.— Истру посмотрел на часы.— До захода солнца больше семи часов. За это время Шония и Другов произведут разведку долины на север отсюда. Необходимо найти места, удобные для лесного завала. До этого мы не сможем взорвать скалу. После взрыва лошади в долину не пройдут. Не на себе же тащить весь инструмент. Пойдете налегке. С собой ничего не брать, кроме оружия. Задача ясна?

— Так точно,— вытянулся Шония, эффектно вскинув руку к пилотке.— Разрешите выполнять?

— Другов, возьмите автомат Повода. Если судить по карте, настоящий лес отсюда в десяти—двенадцати километрах. Не забудьте, что в горах быстро темнеет. А впрочем,— махнул рукой Истру,— не мне вас учить, Шония горы знает.

...Пять человек стояли у Белого камня и смотрели вслед двоим, спускавшимся вниз по узенькой тропке. Они были уже далеко, и фигурки их казались отсюда неправдоподобно маленькими. Пологий северный склон стелил им под ноги пестрое многоцветье альпики, словно бесценный ковер...

4

— Ну, и кто же третий? — спросил начальник штаба, щуря и без того узкие глаза.

Все молчали. Майор вздохнул, передал картонную папку своему помощнику по разведке и отступил на шаг. Капитан Шелест исподлобья взглянул на бойцов:

— Кто-нибудь из вас занимался альпинизмом?

Коротенькая шеренга по-прежнему молчала.

— Стало быть, никто и представления об этом не имеет? — спросил помощник начальника штаба, и в его глазах с воспаленными веками нельзя было прочесть ничего, кроме смертельной усталости.

— Красноармеец Кирилл Другов. Разрешите? — Высокий нескладный парень поднял руку.— Вообще-то я увлекался...

— Выйдите из строя,— приказал капитан.

— Увлекался еще в Москве, в университете.

— Кем готовились стать?

— Учился на филологическом, кончил два курса.

Старшина Осталчук одобрительно покачал головой: башковитый! Хотя парню, судя по всему, было уже под двадцать, в долговязой фигуре его отмечалось что-то еще не сложившееся, не оформившееся до поры, как в стати стригунка-жеребенка. Голенастые ноги с большими ступнями, длинные руки с широкими красными кистями, острый кадык, от волнения перекатывающийся на горле. Некоторую несуразность в облике молодого бойца подчеркивала не по размеру подобранная гимнастерка: слишком короткие рукава и слишком просторный ворот.

— Мое увлечение альпинизмом носит скорее платонический характер,— как бы оправдываясь, добавил красноармеец.

— Как это понимать? — поднял брови майор.

— Вроде как у Ромео и Джульетты,— с ухмылкой пояснил капитан Шелест.

В строю засмеялись.

— У Шекспира на этот счет нет точных указаний,— улыбнулся Другов, и улыбка сразу же сделала весь его облик мягче и привлекательнее.— Во всяком случае, до того, как их обвенчал брат Лоренцо.

— Чей брат, простите? — не понял капитан.

— Священник,— позволил себе заметить Радзиевский.

— А разве они были мужем и женой? — искренне удивился капитан.

— Ну, хватит! — нетерпеливо махнул рукой начальник штаба.— Вы, собственно, о чем, о любви или об альпинизме? — И, обращаясь к Кириллу, спросил: — Короче, какое отношение к этому спорту вы имеете?

— Интересовался. Читал,— смущенно пожал плечами боец.— На лыжах ходить умею...

— Что делать, других у меня нет,— вздохнул Истру.

— Пойдет,— поддержал его ПНШ по разведке. Ему, видимо, надоела вся эта процедура.

— Будь по-вашему,— согласился майор, все еще не спуская оценивающего взгляда с долговязой фигуры красноармейца.

Излишне пристальный взгляд светлых голубоватых глаз Кирилла Другова был достаточно мягок, даже добр, но в нем сквозила едва заметная лукавинка, которая почему-то злила майора.

Вряд ли Кирилл смог бы объяснить достаточно определенно, почему он добровольно вызвался идти на Правую Эки-Дару. Скорее всего виной была его романтичность и чрезмерная впечатлитель-

ность. В какую-то минуту Другову стало до чертиков жаль этого немолодого капитана с покрасневшими от бессонницы глазами. Затянутый в боевые ремни, выглядевший таким молодцеватым, таким уверенным в себе, помощник начальника штаба вдруг неожиданно смутился, когда добровольцев не оказалось, и Кирилл заметил на его лице что-то похожее на растерянность. Парню тяжело было видеть любое проявление нерешительности в поведении бывалого фронтовика, гимнастерку которого украшали два боевых ордена. И Кирилл поднял руку.

— Другов, вы комсомолец? — неожиданно спросил майор.

— Так точно!

— Ну что ж, пусть будет так, как будет,— еще раз подтвердил свое решение начальник штаба и, запустив пальцы за ремень, разогнал складки на гимнастерке.—Все трое пройдете инструктаж у капитана Шелеста. Короче, ребята, мы вас не в пекло посылаем, хотя пост этот и считаем ответственным. Там сейчас тихо, даже слишком. Но необходимо быть начеку. Тишина не должна расхолаживать. Вы в заслоне, так? — Он снял фуражку и вытер лоб.— Был я недавно внизу, у моря. В райкомах люди не спят уже несколько суток. Положение серьезное. Мы полагаемся на вас.

— Еще бы, товарищ майор,— улыбнулся Истру,— такие орлы!

— Тем лучше. Трое таких чудо-богатырей — да ведь это же тройной заслон!

...Трава на альпийских лугах была низкорослой и сбитой так плотно, так густо стоял стебелек к стебельку, что дерновина пружинила под ногами, как волосяной матрац. Тут и там мелькали бледно-лиловые и розовые безвременники. Августовское солнце немилосердно жгло затылок и шею, но временами неожиданный порыв ветра приносил с собой зябкое дыхание снега. Из темных расщелин тянуло сыростью замшелого погреба.

Шония и Другов шли по широкому лугу, где из земли, точно шляпки грибов-исполинов, выпирали гранитные валуны, потом по кочковатому плато. Они то и дело обходили нагромождения морен с острыми, еще не обкатанными камнями и заросли кавказского рододендрона с глянцевыми темно-зелеными листьями и войлочными коробочками созревших плодов. Его прочные гибкие ветви поднимались на метр от земли, изгибаясь в дугу, наподобие ловчих петель. Иногда под ногами хлюпала вода.

Перейдя через мощный снежник, из-под которого с шумом вырывался поток, они ступили наконец на твердую почву речной террасы. Слева рос сквозной, похожий на лесопарк ельник, откуда доносилось мерное постукивание дятла. Где-то прозвенел и оборвался голосок неведомой пичуги.

Спокойствие окружающей природы действовало на обоих умиротворяюще. Шли они под гору легко и свободно, и, не будь позади трудных километров, можно было бы подумать, что вышли они на увеселительную прогулку. Только иногда, как саднящая боль от пустячного касательного ранения, их тревожила одна и та же мысль. Там, на перевале, остались свои, которые в любую минуту могли бы предупредить об опасности, прийти на помощь. Там можно было заметить врага за многие сотни метров и успеть приготовиться к обороне. Здесь же им не на кого было рассчитывать, кроме как на самих себя. Но эта минутная тревога быстро проходила. Слишком уж мирным выглядел окружавший их пейзаж.

Шония и Кирилл отмахали уже добрый десяток километров. Ручей, принявший в себя несколько притоков, которые ребятам приходилось переходить где вброд, где по кладкам, превратился уже в настоящую реку. Неожиданно впереди открылась просторная поляна с высокой, в человеческий рост травой, а за ней реденький лесок с тощими, искривленными деревцами. Кирилл остановился и потрогал тугой ребристый стебель девясила с тремя крупными огненно-желтыми цветками.

— Смотри,— сказал он,— макет настоящего солнца! Жалко — не пахнет...

Огненный цветок девясила был действительно прекрасен в этом запоздалом праздничном цветении. Покоряли его простота и наивная вера в то, что еще долго не наступят холода и он в неуемной щедрости своей успеет уронить в землю семена новой жизни.

— Курить хочется,— сказал Костя, снимая с груди автомат.— Тут тихо, давай покурим.

— Не курю я,— усмехнулся Кирилл.— Не курю. Тетя не велит. Посидеть можно. После таких суворовских бросков ноги гудят — сил нет.

— Гудит, дорогой, только пароход. А ноги ерунда. Назад пойдем, у ледника помоем. Не вода — огонь! Все ка-ак рукой снимет.— Он сел на траву, достал из кармана замшевый кисет и вытряхнул на бумажку щепоть мелко нарезанного листового табака.— Прошлогодний. Жена привозила, когда в Сухуми стояли. Дед сажал. Есть у меня хороший дед, понимаешь? Ираклий зовут. В Зугдиди все знают...— И вдруг ни с того ни с сего запел тихонько с фальшивой слезой в голосе, смешно утрируя кавказский акцент:

В одным маленким клэ-эткам
Па-пугай сидит,
В другом маленким клэ-эткам
Его ма-ать плачит.
Она ему лубит, она ему мать,
Она ему хочет крэпко обнимать...

Кирилл невольно расплылся в улыбке, глядя, как у сержанта в такт песенке подрагивают плечи.

— Ну вот, дорогой,— рассмеялся Костя.— А то, понимаешь, слишком серьезный ты сегодня, даю слово.—Он легко вскочил и одернул гимнастерку.— Все! Покурили, и хватит. В разведке курить не положено.

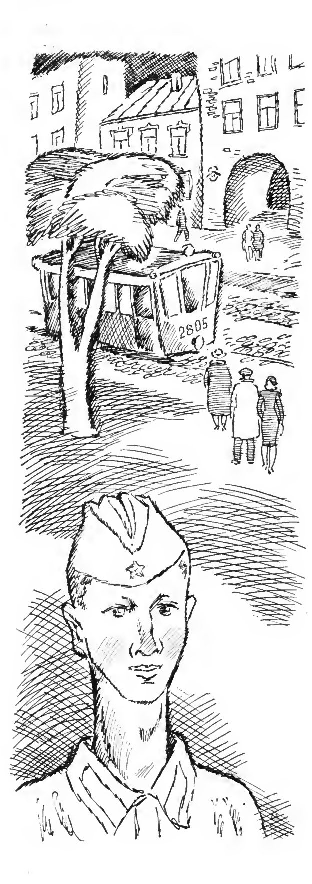
— А сам куришь. Ай-яй-яй, как нехорошо! — с ехидцей прищурился Кирилл.

— Здесь я не в тылу у врага, дорогой. Здесь я дома. А дома все можно. Можно петь, можно курить, даже голым ходить можно.

Не успели они сделать и нескольких шагов, как в зарослях травы послышался быстро нарастающий шелест. Шония остановился и вскинул автомат. Другов невольно втянул голову в плечи и тоже изготовился к бою...

На небольшую площадку, устланную вытоптанной травой и поверженными стеблями гигантского борщевика с пожухлыми листьями, резво выпорхнула молоденькая серна, грациозно-прекрасная и легкая. Длинная шея с аккуратной головкой, увенчанной лакированными, круто загнутыми на концах рожками, была настороженно вытянута. От основания заостренного уха к уголку рта, пересекая блестящий глаз, шла узкая темная полоска. Такой же ремешок тянулся по хребту до самого хвостика, остро нацеленного и дрожащего от напряжения и избытка энергии.

Костя негромко засмеялся и опустил автомат. В ту же секунду, подброшенная в воздух высокими сильными ногами, серна исчезла в траве, стремительная и невесомая, словно это было и не животное вовсе, а некий бесплотный дух. Только на мгновение мелькнул желтоватый подбой на ее груди.



— Клянусь, жалко такую красоту оставлять фрицам! — воскликнул Костя.

У Кирилла от волнения даже пот выступил на лбу.

— Тьфу ты, скотина! — вырвалось у него.— Это ж надо так перепугать человека...

Чтобы снять с себя напряжение, необходимо было отвлечься, переключиться на что-то другое, постороннее, и Кирилл, приноравливаясь к шагу сержанта, стал вспоминать Москву.

Кроме тетки, родных у него не было. Отец погиб в Туркестане от пули басмача, мать умерла от сыпняка годом позже. Кирилл их не помнил. От них остались одни выцветшие фотографии и рассказы тетки. Всю свою жизнь он прожил на Малой Бронной, где у поворота яростно скрежетали трамваи. Они с теткой занимали небольшую комнату в коммунальной квартире, где потолок в коридоре почернел от примусной копоти. За долгие годы копоть так глубоко въелась в штукатурку, что у нее появилось свойство самопроявляться. Никакая побелка не могла придать потолку изначальный опрятный вид.

Кирилл вспоминал друзей по двору, с которыми играл в футбол старой покрышкой от мяча, туго набитой тряпками. Он любил свою улицу, мокрый от дождя булыжник мостовой, любил зеркальную тишину Патриарших прудов в прохладные утренние часы и легкую золотистую дымку тумана над Садовой, где на углу продавалось сливочное мороженое в круглых вафлях по двадцать копеек за порцию.

Он был дитя своего города и не мыслил себя отдельно от него. Когда в детстве он возвращался из пионерского лагеря, ему хотелось погладить асфальт тротуара, до того он успевал соскучиться по нему. Город давал ему кров, тепло и пищу.

Но было в парне что-то, чему он сам не мог подыскать названия, какой-то неясный зов, который заставлял его ночи напролет читать книги о полярных исследователях и покорителях знойных пустынь. Он коллекционировал марки, хотя дух собирательства был чужд его натуре. Марки, эти крошечные миниатюры с кораблями Васко де Гамы, трубящими слонами и китайскими пагодами, волновали его сами по себе. Он упивался названиями: Либерия, Ньяса, Танганьика... Они поселяли в нем такое же смутное беспокойство, как книги Джека Лондона, Арсеньева и Миклухо-Маклая.

Когда месяц назад Кирилл уезжал из Москвы, ему захотелось кутнуть, и они с Галкой Стеблиной зашли в «Метрополь». Благообразный довоенный официант в черной паре с галстуком «бабочкой» услужливо подал меню. Там было всего два названия: какао и бутерброды с кетовой икрой. Стакан какао стоил десять рублей. После цен мирного времени к этому все еще трудно было привыкнуть. Кирилл заказал какао. На бутерброды у него не хватило ни духу, ни денег. Правда, они не пожалели об этом, потому что, как выяснилось позже, кусочек хлеба с несколькими икринками наверху был не больше спичечного коробка.

Какао выглядело подозрительно бледным. Оно оказалось без молока и совершенно несладким, но Кирилл и Галка честно допили все до дна. Он поблагодарил официанта, рассчитался с ним и даже оставил трояк на чай, который если и бывал тут, то наверняка тоже подавался без сахара.

Тетя Оля работала в Ленинской библиотеке. Возможно, именно поэтому в их доме царил культ книги. Книг было много. Практически они занимали в комнате большую часть жизненного пространства. Кирилл рано начал читать. В детстве он был неорганизован и неряшлив. Он мог не убрать после

себя тарелку или забыть подмести пол, но переломить книгу в корешке или загнуть страницу... Упаси бог, такое ему никогда бы не пришло в голову.

Тетка была достаточно умна и неназойлива в воспитании любимого племянничка, который, по сути, заменил ей сына. Тем не менее она ловко направляла, подстегивала его интересы и увлечения.

С Галкой Кирилл познакомился еще на первом курсе. Он сразу же обратил на нее внимание. И с тех пор, как только она появлялась в аудитории, у него начинал частить пульс. Он сидел сзади, через стол от нее, и не уставал часами смотреть на ее белую шею, на розовую мочку уха, просвеченную солнцем, на пустячный завиток волос. Но сойтись с ней ближе ему было нелегко. Она казалась шальной и задиристой. Тетя Оля позже утверждала, что у Галки слишком громкий, неприличный смех. Но ему до теткиного мнения не было тогда никакого дела. До встречи с Галкой он почему-то считал, что девушки не могут обратить на него внимания. Внешность свою он не склонен был идеализировать, и поэтому, вероятно, страшно смущался и даже робел в обществе девчонок.

Однажды, когда у них оказалась пустая пара — заболел преподаватель,— его сокурсницы, не стесняясь присутствием ребят, затеяли разговор о мужских достоинствах, мнимых и подлинных.

— Господи,— тряхнула Галка своими коротко подстриженными волосами,— ну зачем мужику красивая физиономия? В первую очередь ему нужна светлая голова, могучий интеллект, так сказать. Если бы мне предложили выйти замуж за смазливого, но пустоватого парня, я бы отвергла его с презрением.— И она картинным движением бросила на стол тетрадь с лекциями.— Вот честное комсомольское! Я бы вышла замуж за Другова. Галина Другова! Звучит?

Девчонки были в восторге от ее выходки. Галка отыскала взглядом Кирилла и сделала ему ручкой. Тот покраснел и пытался неловко отшучиваться.

— Никто ничего не понимает,— с серьезной миной продолжала Галка.— Вы даже не представляете, каким потрясающим мужчиной он будет в сорок лет. Ведь у него от природы правильные черты лица, только слегка смещенные по линии симметрии. К тому времени он слегка полысеет и лоб его от этого станет светлее и выше. Не лоб, а чело! Но в глазах, заметьте, все та же живая мысль.— Она драматически прикрыла глаза рукой.— Если ему каждый день скармливать стакан сметаны, результат не замедлит сказаться...

После этой сцены Кирилл уверился на все сто процентов, что Галке наплевать на него с высокой колокольни — он ей абсолютно не нужен — и что для него она потеряна навсегда. Но получилось совсем по-иному. Всего через какие-нибудь три дня она подошла к нему как ни в чем не бывало и, протягивая два билета, сказала:

— Это в Зал Чайковского. От тебя, видно, дождешься, держи карман пошире...

Потом они встречались каждый вечер. От этих встреч он сохранил воспоминание о нежной девичьей коже, холодке ее щек, особом неповторимом запахе метро, где зимой было тепло и где никто не обращал на них внимания, о полумраке настывших подъездов и восьмиколонном портале университета на Моховой с его традиционным куполом и мощными крепостными стенами.

Почтительное отношение к «альма матер» он сумел сохранить и по сей день. В этом храме науки, как его называли в дни юбилейных торжеств, царила удивительная праздничная атмосфера. Там вершилось таинство приобщения к великому и бессмертному, может быть, к самой Истине. И дыхание спирало от одной мысли, что в разное время по этим самым сводчатым коридорам прохаживались, мечтая, ссорясь и споря со своими современниками, совсем еще юные Лермонтов, Тургенев и Чехов.

А потом... Он до гробовой доски запомнил огромные потемневшие глаза Галки в минуту прощания на Казанском вокзале, когда она с силой оторвала от него рыдающую тетку и почти крикнула:

— Кирилл, ты должен вернуться! Ты обязан, слышишь? Я люблю тебя. Я всегда буду ждать тебя. Всегда...

...Шония остановился, потому что едва заметная тропка теперь и вовсе оборвалась. За это время они миновали редколесье и уперлись в самый настоящий завал. Старые березы и грабы были повалены на громадном пространстве от обрывистых утесов просторного каньона до самых заплесков бесноватой горной реки. Стволы, беспорядочно наваленные друг на друга, находились в неустойчивом равновесии. Стоило наступить на один край, как другой тут же начинал задираться вверх, словно дуло зенитного орудия, а нога — проваливаться куда-то, точно в пустоту прогнившего колодезного сруба. Здесь не то что на лошади, пешком и то куда как не просто было пробиться.

— Откуда такое? — спросил в недоумении Кирилл.— Кто же это наворочал?

Шония покачал головой:

— Лавина сошла. Лавина! Совсем недавно. Может быть, этой весной.

— Что же, сержант, похоже, делать тут нечего,— повеселел Кирилл.— Сама мать-природа нам подыграла, а?

— Ничего не скажешь, дорогой, хорошо подыграла,— согласился Костя.— Такой полосы препятствий ни в одном штурм-городке не найдешь. Тут ни пехота не пройдет, ни бронепоезд не промчится.

— Выходит, назад топаем? — с облегчением спросил Кирилл.

Костя не ответил. Его внимание привлекло что-то желтевшее в траве. Он сделал несколько шагов, подобрал с земли скомканную бумажку и стал разглаживать. Это оказалась пачка из-под сигарет.

— Немецкие,— сказал Костя глухим голосом. Его ноздри слегка раздувались.

Кирилл с волнением принялся разглядывать пустую желтую пачку с полустертым названием.

— «Плугатар» или «Плукатар»,— прочитал он и, пытаясь разобрать что-то написанное мелким шрифтом, добавил: — Сигареты скорее всего румынские. Но откуда тут румыны? О них ничего не было слышно.

— Немцы всякие сигареты курят: и румынские, и французские, и турецкие.— Костя понюхал пачку.— Клянусь, еще свежим табаком пахнет...

Кирилл в последний раз оглянулся на завал, на проросшую сквозь него траву и отчего-то поежился. Эти мертвые деревья, ставшие пищей древоточцев и короедов, вся эта дичь и захламленность навевали мысль о кладбищенском запустении. Было во всем этом что-то недоброе. И кто теперь мог поручиться, что тут, совсем рядом, не находится враг, тот самый фашист, натянувший на себя жабью шкуру серо-зеленой униформы, с тусклой пряжкой, на которой выбито кощунственное «С нами бог!»? Может быть, вот сейчас, в это самое мгновение он берет Кирилла на мушку? Ахнет выстрел, и все кончится, и Кирилл перестанет существовать!

Другов прибавил шаг. Он шел теперь, не оглядываясь, а сырой могильный ветерок все дул ему в спину.

5

Горы вздрогнули, и почва заколебалась под ногами, как во время землетрясения. Вислый камень, эта немая громада, выплюнул из своего нутра три желтоватых дымных фонтана, смешанных с огнем, словно три ствола крупного калибра дали одновременный залп. Концентрированная энергия направленного взрыва качнула порфиритовую скалу, какое-то время удерживая ее в состоянии мнимой устойчивости, но удар раскаленных газов уже сделал свое дело — сдвинул глыбу с естественного постамента, и она рухнула, подняв тучу сланцевой пыли.

Расчет Радзиевского оказался точным. Вислый камень, расколовшись на два громадных монолита, упал на первый уступ, прочно закупорив ту единственную ложбинку в материковой породе, по которой сбегала вниз тропа. Человек мог здесь пролезть без особых усилий, зато появилась гарантия, что ни горную пушку, ни тяжелый миномет, ни продовольствие на вьюках противник через седловину не перетащит, даже если ему и удастся разобрать лесной завал в долине реки.

Люди вставали из-за укрытия, слегка оглушенные, отряхивая с себя мучнистую пыль и каменную крошку. В воздухе носился тошнотворный запах жженого тола.

— Блиндаж поставим здесь,— сказал Истру, и собственный голос показался ему неестественно глухим. От взрыва заложило уши.—Вот она, естественная выемка. Ломом и киркой тут не больно поработаешь. А главное—обзор. Надо соорудить амбразуру. Какое перекрытие делаем? — обратился он к Радзиевскому.

— В один накат. От дождя,— ответил сапер.— Артиллерией здесь не пахнет. А насчет амбразуры, так разве что для света, вместо окошка. Не получается вертикальный угол обстрела...

К вечеру блиндаж был почти готов. Стены его и потолок сложили из почерневших пихтовых бревен, а кое-где в ход пошли жерди и даже дранка от разобранного балагана. Перекрытие засыпали землей, предварительно законопатив сухой травой щели, а сверху нагребли побольше щебня. Единственный выход, обращенный к югу, завесили плащ-палаткой. Туда же вывели колено трубы от самодельной «буржуйки». Печки эти клепали полковые оружейники из столитровых железных бочек. А когда притащили из бывшего пастушьего приюта не успевшее сопреть прошлогоднее сено пополам с кукурузной бодылкой и уложили на нары, блиндаж принял прямо-таки жилой и даже по-своему уютный вид.

— Санаторий! Ну, чистый санаторий,— восхищался плодами общего труда ординарец Повод.— И название я придумал — «Подснежник». Ребята ж тут, можно сказать, под вечными снегами...

— Еще бы фрицы не тревожили,— вздохнул Другов, разминая красные, натруженные кисти.— Тогда б санаторию этому цены не было.

— А вы хотели бы и невинность соблюсти и капитал приобрести? — с некоторым раздражением заметил лейтенант Радзиевский.— Такого не бывает.

Даже командир роты посмотрел на сапера с недоумением — настолько от его слов веяло неприкрытой враждебностью. И чего он цепляется к каждому слову?

Истру подошел к обрезку трубы, похожему на миномет.

— Шония, Другов и вы тоже,— кивнул он в сторону Силаева.— Подойдите поближе. Вот этот знаменитый самовар, который вызвал ваше любопытство, есть не что иное, как увеличенная во много раз ракетница.

Истру подбросил на своей изящной ладони увесистый шар из папье-маше, похожий на ядро старинной пушки. Только обертка из газетной бумаги с проступающим сквозь клей порыжевшим шрифтом нарушала сходство.

— А это снаряд,— пояснил он.— Вот торчит фитилек, мышиный хвостик. Он поджигается спичкой или папироской, и вся эта штука спокойно, без паники опускается в трубу, которую, разумеется, надо установить вертикально. Времени достаточно, около пятнадцати секунд. Раздается выстрел — ядро летит в небо. Там, на значительной высоте, оно взрывается и дробится на несколько более мелких частей. Заряды эти, получив дополнительное ускорение, взлетают еще выше. В этот момент они уже воспламенились и имеют вид обычных красных ракет, только, конечно, более ярких. Разлетаются они таким эффектным веером. Я правильно объясняю? — повернулся он к Радзиевскому.

— В принципе,— буркнул лейтенант.

— Я видел это средство сигнализации в действии,— продолжал командир роты,— и должен признаться, зрелище впечатляющее. Основной смысл заключен в том, чтобы в несколько раз увеличить радиус действия сигнала. Это достигается за счет двухмоментности взрыва. Такую вспышку непременно заметят на заставе. Для нас это сигнал тревоги.

— Теперь я понимаю, что значит «заменяет рацию и телефон»,— пряча улыбку в шелковых усах, заметил Шония.

— Что делать,— развел руками Истру,— рации в горах на большом расстоянии ненадежны, да и нет их у нас пока в достаточном количестве. Вот и пошли на одностороннюю связь. Оставляем вам десяток таких снарядов. Берегите, это только на крайний случай.

— Их надо держать в сухом месте,— вмешался наконец Радзиевский.— Там артиллерийский порох. Он сырости не любит.

— Простите, товарищ лейтенант, вопрос к вам есть. Разрешите? — спросил Костя.— Вы на гражданке химиком были, да? Или строителем?

Этим вопросом сержант нарушал стихийный заговор молчания вокруг лейтенанта. Невинный вопрос, заданный Костей, занимал многих, но никто пока не отважился вот так прямо спросить его об этом.

— Химиком? — Радзиевский впервые рассмеялся, и только сейчас все заметили, что лицо его испещрено мелкими синими точечками, как от близкого взрыва.— Нет, сержант, инженером я стал поневоле. Я окончил консерваторию в Ленинграде. По классу рояля.

Наступило неловкое молчание. Наконец Истру прокашлялся.

— Вот, собственно, и все,— сказал он, чтобы хоть как-то прервать тягостную паузу.— Нам еще предстоит заминировать два участка, а к наступлению темноты мы должны спуститься хотя бы до линии леса, иначе наши лошаденки переломают себе ноги. Старшина, как там с продснабжением для ребят?

— Усе в порядке, товарищ старший лейтенант. Готово!

— Шония, кто примет у старшины сухой паек? — спросил командир роты.

— Паек? Красноармеец Другов примет.

— Тогда, Силаев, помогите лейтенанту поставить мины,— сказал Истру.— Это не отнимет много времени...

Старшина уже колдовал на разостланном брезенте.

Он стоял на коленях, аккуратно раскладывая какие-то лакеты и мешочки.

— Соби мы ничого не визьмем,— объяснял он Другову.— Сам чуешь, с харчами не густо. Вот манка, сухари, хлиба дви булки...

— Ясно. Только не хлебом единым жив человек.

— Розумию, розумию, товарищ студзнт. Вот вам яешный порошок, сало на зажарку.

— А чего зажаривать-то?

— Як — чого? Ото тут дыкий лук по горам,— старшина загнул заскорузлый лалец.— Черемша зветься. Сержант знае. Грыбы...

— Грибы, это точно,— засмеялся Другов.— Грибы я сам видел внизу. Сыроеги вот такие. Червивые, лравда.

— Их в солеиу воду трзба. Воиы, оци червяки, ураз вылезут...

Остапчук с особой бережливостью пересчитал лятох банок говяжьей тушенки, придвинул к Кириллу кучку чесночин.

— Бачишь оцей ящик? — спросил он, кивнув на иебольшую фанерную коробку.— Цз макароны, той же хлиб. Можно у суп, можно и по-хлотски, з мясом,— и он шумно сглотнул.— Тушенку берегты трзба. А цз хвасоля, музыкальный продухт.

— О-о, лобио! — обрадовался лодошедший сержант и стал потирать ладони.— Лобио будем варить, да?

— Лобио! — передразнил Остапчук.— Кому шо, а курицн — просо. Ты ото лучше скажн, цинки с боезаласом у блиндаж оттягав, чи ни?

— Так точно! Як оце було прнказано,— четко отрапортовал сержант.

От иеожиданности Остапчук так и застыл с приоткрытым ртом. Меньше всего он рассчитывал услышать из уст Шонии «украиньску мову». Хотел что-то сказать, но только безнадежио махнул рукой:

— Хванзру бережить...

— Это еще зачем? — удивился Кирилл.— Мы этот ящик на растопку пустим.

— Зачем? — рассердился старшина.— Хрукту з Кавказу до дому пошлзшь. Мандарыны! Чого рзгочишь? Прыгодытся... Не дай бог, убьють когось, будз на чем хвамылию напысать. Усе ж таки солдатська душа, не свыня якась. Розумиешь? Усе по-хозяйски трзба...

И оттого, что говорил старшниа о смерти таким деловым, таким будничным тоном, слова его лрнннмались к сведению, ио никого не страшили, как лараграф дисциплинарного устава, ибо касалось это всех вместе и никого в отдельности.

Солнце уже клонилось к закату. В его сиянии оллавлялись острые хребтины гор, и воздух сделался прозрачно-золотым, как некрелко заваренный чай.

Осталчук тем временем извлек откуда-то медную гнльзу от сорокапятки и кусок шннельного сукна.

— Оцз каганець хтось зробыть.

— Спасибо, товарищ старшина,— ответил Другов.— Коптнлка у нас имеется. Мы об этом еще внизу позаботнлнсь. Заняли у связнстов на время, до светлого Дня Победы.

Старшина погрозил ему кулаком и стал с трудом подниматься с колен. Затекли ноги от неудобного положения. Денек выдался не из легких. И потом, что ни говори, пятьдесят лет — не двадцать...

Вериулись с лопатами н кирками Радзиевский, командир роты и Силаев. Они поставили по десятку противопехотных мин иа двух участках: слева внизу, на удобных подступах к скальному лорогу, н справа, на самом хребте, метрах в трехстах от блиндажа. Оседланные лошадн леремнналнсь с ногн иа ногу. Онн былн уже взнуздаиы н брезглнво жевалн кнслое железо трензелей. Поклажа иа вьючных седлах была теперь невелика — кой-какой ннструмент да вещевые мешки выступающих налегке людей.

— Ну что ж, орлы, задача перед вами лоставлена,— сказал Истру, лридерживая коня за ловод. Он окииул прощальным взглядом залитые янтарным сиянием горы. В его бархатных глазах затаилась вековая бессарабская грусть.— Простимся. Вот она, ваша лнния охранения. Следите строго, чтобы и мышь не проскочила. Не забывайте: впереди враг, за спнной Родина.

Истру лоочередно ложал рукн всем остающимся н, не оглядываясь, зашагал к крутому слуску. Закончив одно дело, он уже начннал думать о следующем, мыслямн уносясь в завтрашний день. Следом за ним двинулись и остальные. Лошади ступалн осторожно, то н дело поджимая крул, приседая на задние ногн и скользя на вытянутых лередних. Онн всхрапывалн и настороженно косили глазамн. Излод копыт сыпалась мелкая щебенка.

Прошло совсем немного времени, а маленький караван уже казался далеким и недостижимым. Он уходил отсюда, из сурового царства камня и льда, в уютные, тихие долнны, где ощутимо дыхание теплого моря, где неподалеку зреют маслины, гранаты н миндаль, и трехпалые листья ннжира в лридорожных зарослях щедро лрнсыпаны горячей известняковой пылью.

Красный диск солнца уже коснулся хребта, лохожего сейчас на зазубренное лезвие. С севера ло ущелью подкрадывался сырой холодный туман. На перевале становилось неуютно. И, может быть, именно лозтому оставшимся казалось, что люди, успевшие спуститься далеко вниз, уносили с собой частицу общего земного тепла, их право на общенне с миром, незаконио лрисвоили нечто такое, что лрннадлежало им всем и что следовало делить поровну.

— Ладно,— сказал Костя, лервым отрывая взгляд от долины, в которой уже сгущались вечерние тени,— в нашем карауле, как положено по уставу, трн смены. Каждый наблюдатель стоит по три часа, да? И шесть часов отдыхает. Первый раз зтн шесть часов спит, второй — не слит, заннмается хозяйственными делами. Понятно? Сектор наблюдения — сто восемьдесят градусов: запад, север, восток.— Он задрал гимнастерку н вытащил из лереднего кармашка брюк большие старинные часы на цепочке.— Первая смеиа застулает через час. Наблюдатель — боец Другов. Вторую смену стонт Силаев, третью я сам. Вопросы есть? Нет вопросов. Тогда, Федя, принеси из большой фляги воды, сольешь мне, дорогой. Надо умыться. Всем надо. Котелок не бери, он жирный. Набери воды в мою каску. Только ремешок не мочи.

Шония расстегиул ремень, стяиул через голову гимиастерку вместе с нслодней рубашкой. Его атлетический торс буйно порос на груди и ллечах черной курчавой шерстью. Волосы подбирались лод самое горло. Другов ие выдержал, лотрогал ладонью.

— Ну и пушистый же ты у нас, сержант! — восхищенно произнес он.— Какой бы платок для моей тетки вышел!

— Э-з, дорогой, у нас на Кавказе зтим не удивишь. А вот лапы такой, как твоя, здесь не найдешь, зто точно. Дефицитная лапа!

— Лапа как лапа,— пожал плечами Кирилл, огорченно разглядывая свои порыжевшие башмаки, похожие на два громадных ржавых утюга.— Мужская, растолтанная...

— Такой лапе цены нет,— не уннмался Костя, лодставляя ладонн лод струю воды.— С такой лапой, лонимаешь, только саранчу в колхозе толтать...

Вытирая спнну н плечи белым вафельным полотенцем. Костя бодро локряхтывал. Потом швырнул

скомканным полотенцем в Кирилла и, поднявшись на носки, кинул руки в сторону, как флаг по ветру.

— Хоу-нина, хоу-нина, нанина, нанина,— запел он, яростно и весело сверкнув своими янтарными выпуклыми глазами,— хоу, хоу-нина, нанина...

Даже обычно заторможенный Федя не устоял, расшевелился, стал прихлопывать, отбивая такт.

— Хорошая песня! — похвалил Кирилл.— Не так мотив, как слова. Содержательные, ничего не скажешь.

Когда, умывшись, они откинули полог и зашли в блиндаж, Кирилл пропел:

— Бери ложку, бери бак, а не хочешь — лопай так! — Он достал из-под обмотки новенькую алюминиевую ложку.— Сигнал на ужин скоро будет?

— Ты скажи, Федя,— подтолкнул Силаева плечом сержант,— они что, эти худые, все такие мастера насчет пожрать, да?

Силаев снял пилотку и бережно положил на нары. От рыжеватой щеточки его волос в блиндаже даже как-то светлее стало.

— Ладно, голодающий, режь хлеб по фронтовой норме,— разрешил Костя и занялся коптилкой.

Кирилл, достававший из мешка буханку, неожиданно поднял голову:

— Слушай, сержант, а ты на передовой когда-нибудь был? Немца видел?

— На передовой? Э-э, как тебе сказать...— Он крутнул колесико кустарной зажигалки, искусно сработанной из винтовочного патрона, и в блиндаже замерцало дымное сияние коптилки. Оно отбросило на стены громадные угольные тени.— Меня в полковую школу взяли, понимаешь? Немного не доучился — расформировали нас, бросили под Алагир на пополнение. Только в часть попал, туда-сюда—часть отвели с передовой, передали в другую армию. Резерв фронта называется. Вот, звание присвоили. На передовой был, а немцев только до войны видел. Водил их тут по горам.

— Зачем водил? — придвинулся к нему Федя.

— Туристы!

— Ну, и какие они? — спросил Кирилл.

— Люди. Все, как у нас. Только арбуз ели не понашему. В Сухуми пришли, купили арбуз на базаре. Так они шляпку срезали, а мякоть, клянусь, ложками достазали!

— Любопытно получается,— усмехнулся и покачал головой Кирилл,— у меня почти все, как у тебя. Нас сразу в прожектористы определили. Красота, все время в Москве. Раз в неделю дома, это как закон. А потом на наше место девчат прислали, ну, а нас кого куда. Я, например, в училище попал в Среднюю Азию. Короче говоря, прибыла наша команда в Ташкент, а в штабе округа выясняется: пока мы добирались, училище это на фронт бросили. Целиком, с потрохами. Курсантскую бригаду сформировали там, что ли. Вот так я и попал сюда, на мандарины...

После ужина, захватив с собой шинель, Кирилл выбрался из блиндажа и стал подыскивать место, откуда удобнее вести наблюдение. Быстро темнело, но еще было видно, как снизу нечесаными седыми космами выползал туман. Обширный ледниковый цирк, образованный отрогами северного склона, уже не вмещал его, и он переливался через края, подступая вплотную к перевалу.

Кирилл передернул плечами и стал надевать шинель. В такую муть, сколько ни таращи глаза, все равно ни черта не увидишь. Осталось слушать. И он честно напрягал слух, но, кроме тихих голосов в блиндаже, так ничего и не услышал. Тишина настораживала. Из головы не шла пачка из-под румынских сигарет, найденная у лесного завала.

Время текло медленно, оно сочилось минута за минутой, как капля за каплей. Ближе к полуночи, когда уже подошло время будить Силаева, туман начал постепенно отступать. Наверху стали просвечивать отдельные звезды. От холода у Кирилла не попадал зуб на зуб. Спать не хотелось. Он присел на подстилке из сухой травы под самой скалой, засунув руки поглубже в рукава шинели и зажав между коленями автомат.

В этот момент из тумана до него явственно донесся тяжелый хриплый вздох и следом за ним протяжный трубный возглас. Он состоял всего из трех-четырех постепенно повышающихся нот и оборвался органным аккордом.

Спотыкаясь, Кирилл бросился к блиндажу. Путаясь в плащ-палатке, которой был завешен вход, он наконец ввалился внутрь и, схватившись в темноте за чьи-то ноги, крикнул:

— Вы! Вставайте! Здесь барс ходит.

— Дурак ходит,— послышался недовольный, хрипловатый голос Шонии.— Где ты тут барса видел?

— Не веришь? Ну честно, сам слышал, как рычал. Совсем близко!

Заскрипели нары. Сержант хоть и злился, что его разбудили, тем не менее решил встать. Поднялся и Силаев. Молча зажег коптилку, стал не спеша обуваться, накручивать обмотки. Костя остался в нижнем белье. Он только натянул сапоги и набросил на плечи шинель. Шея его была повязана красным шерстяным шарфом.

Все трое подошли к скале и остановились, прислушиваясь. Стояла такая тишина, что, казалось, слышно, как пульсирует кровь в собственных жилах.

— Спать на посту не надо,— не выдержал в конце концов сержант.— А то, клянусь, не такое приснится.

Костя достал из кармана шинели кисет и стал вертеть цигарку. Однако не успел он еще поднести ее к губам, как из глубины провала снова долетел низкий раскатистый рев.

— Ну что? — зашептал Другов.— Я же говорил — барс.

— Э-э, сам ты барс,— и Костя прикурил, накрывшись полой шинели.— Олень ревет! Дурной, молодой. Такой, понимаешь, как ты. Глаза вылупил... Умный олень только в сентябре реветь начнет.

— А чего реветь-то? — спросил Федя.

— Как чего? Ты охотник или не охотник? Свадьба у него, да? На свадьбе всегда много шума. Он, понимаешь, джигит, ему соперник нужен. Сейчас в ствол ружья задуди — ответит. У нас, когда звери с гор в леса сходят, олени даже на паровозный гудок откликаются.

— Северный олень не ревет,— пояснил Федя.— Похрапит, бывает.

— А этот красиво трубит,— заметил Кирилл.— Как в боевой рог.

Костя сходил за блиндаж, вернулся, плотнее запахиваясь в шинель. Подымил в кулак.

— На пост Силаев заступает,— объявил он.— Другов, ты свободен.

6

Уже несколько дней стояла ясная, безветреная погода. И это новое утро не обмануло их надежд. Не успел Кирилл сменить на посту Шонию, как туман стал таять на глазах. Происходило это так стремительно, что казалось, будто где-то открыли невидимые шлюзы, и туман всей своей плотной массой устремился вниз по долинам. Туман еще заполнял речной каньон и стелился по дну цирка, а

хребты уже вознеслись в самое небо. Остроконечный четырехтысячник справа от перевала как бы светился изнутри, словно исполинский кристалл, и только мерцающие льдистые грани его чуть розовели в лучах утреннего солнца. Блестели скалы, политые глазурью обильной росы.

Внизу раздавались звонкие удары и хруст. Это Федя Силаев колол дрова. У входа в блиндаж над жестяной трубой уже курился дымок. Значит, скоро завтрак и, стало быть, жить можно.

Заступать в наряд днем было одно удовольствие. Так или иначе северный склон все время оставался в поле зрения и просматривался достаточно далеко.

За завтраком, который на этот раз готовил сержант, а делал он это всегда с охотой, Кирилл спросил:

— Почему здесь цветы не пахнут?

— Наверно, дорогой, вся сила ушла в красоту,— предположил Костя. Он положил руку Силаеву на плечо.— Федя, у тебя есть девушка?

— Не-е,— протянул Силаев и вытер нос рукавом шинели.

— Никогда не вытирай нос рукавом,— укоризненно заметил сержант.— Он у тебя и так обгорел, лупится. Здесь ультрафиолет, дорогой. Нос беречь надо.

— До восемнадцати лет дожил и никого не было? — недоверчиво переспросил Кирилл. Себя он уже готов был выдавать за бывалого человека.— Ну, хоть нравился кто-нибудь?

— Да вот тут... недавно ехал в машине с одной.— И он вздохнул.— Красивая тоже. Рядом сидели. Ей нехорошо стало... Дороги такие, на любом месте укачает. Потом, сколько ехали, она как голову мне на колени положила, так и просидела до самого конца.

— Хорошо? — полюбопытствовал сержант.

— А чего плохого. Адрес оставила. В Хосте живет, в госпитале работает.

— Писать будешь?

— Написал. Еще на заставе.

— В стихах?

— Не-е, я стихов не пишу,— покраснел Федя.

— Теперь будешь,— пообещал Костя.— Обязательно.— Он закончил завтрак и лениво полез за своим великолепным замшевым кисетом.— Закуришь?

— Ты же знаешь, не курю я,— покачал головой Федя и, помолчав, добавил: — Старшина обещал дней через десять с харчами приехать, может, письмо привезет.

Пока Федя собирал грязные котелки, Другов рассматривал спуск в долину Экн-Дары, тонувший в утренней дымке.

— Крутоват, однако, этот южный склон,— задумчиво проговорил он.— Пожалуй, раза в полтора круче, чем северный.

— Это по всему Главному хребту,— заметил Костя.— Так что, если прохлопаем перевалы, взять их потом, понимаешь, будет труднее, чем сейчас немцам. Ровно в полтора раза.

— Надо бы винтовку пристрелять,— ни с того ни с сего заявил Федя.— Сержант, я возьму пять патронов?

— А чего ее пристреливать? — удивился Кирилл.— Я же пулемет не пристреливаю...

— Ладно, принеси,— неожиданно согласился Костя.— К оружию привыкнуть надо,— объяснил он Кириллу, когда Федя вошел в блиндаж.

Через минуту Шония уже держал в руках самозарядную винтовку СВТ-40 с оптическим прицелом.

— Красавица! — искренне залюбовался он, протирая рукавом шинели дырчатую металлическую накладку на стволе, отливавшую вороненой сталью.— Но понимаешь, капризная. Так что береги затвор от грязи.

— А там, на заставе, один сказал,— вспомнил вдруг Федя,— она, мол, потому оказалась на месте, что никто из порядочных снайперов брать ее не хотел.

— Больше слушай! — строго заметил Костя. Он щелкнул «флажком» зажима и вытащил коробчатый магазин.— Оружие, дорогой, любить надо. Устройство объяснял тебе?

— Ну-у,— кивнул Федя.

Костя выбросил из магазина на ладонь один за другим пять патронов и сунул их в карман.

— Пять осталось,— сказал он.— Считай, я подарил. Мы, дорогой, не так богаты, чтобы сейчас учиться стрелять. Нам, понимаешь, дали больше, чем могли. Не забывай: на шестерых в роте не хватает даже старых раздолбанных винтовок. Возьми вон пустую консервную банку и иди туда.— Костя кивнул на юг.— Чтоб немцы не слыхали, а то, клянусь, перед ними стыдно будет...

...И потекли дни один за другим, похожие, как патроны в автоматном диске. На третью ночь пошел дождь, сея мелкую водяную пыль. Он не перестал и утром. Он шел весь день и всю следующую ночь, не прекращаясь. Облака были под ними и выше их. Сплошная серая пелена нависла над горами. Все стало влажным и липким. Дрова не хотели разгораться, ботинки не успевали просохнуть, а в довершение к концу следующего дня ребята обнаружили, что стали плесневеть отсыревшие за это время сухари.

Лишь на шестые сутки их вынужденного одиночества облака поднялись выше и стал рассеиваться туман, но, хотя дождь и перестал, небо до полудня оставалось хмурым. Только после обеда в нем проглянули голубоватые окна. Было по-прежнему холодно. Из-за темного облака с оранжевой закраиной прорвался к земле огненный столб света. Он высветил дальние хребты, и все увидели, что прежде голые коричневые склоны покрылись белесым налетом — тонким слоем недавно выпавшего снега.

— Надо, понимаешь, с дровами что-то думать,— сказал Шония.— Этих надолго не хватит. Придется заготавливать внизу, в пихтарнике, а когда приедет старшина, перевезти на вьюках.

— А я бы за грибами сходил,— отозвался Другов.— Эта проклятая манка уже в глотку не лезет. Зато какой бы супец вышел!

— Откуда грибы, дорогой? Грибы далеко, туда нельзя. Теперь это, понимаешь, не долина реки, это нейтральная полоса.

— Ну тогда хоть этой, черемши поискать, что ли.

— Ладно, черемша близко, черемшу можно,— недолго поколебавшись, согласился Костя.— Я, дорогой, клянусь, сам этой преснятины не переношу. Я же мингрел, понимаешь? А ты черемшу когда-нибудь видел?

— Где я ее видел? В Москве, что ли, на улице Горького? В магазинах ее не продают.

— Найдешь, дорогой. На южном склоне не ищи. Спустись туда, к валунам.— И он показал на север.— Ищи листики. Такие, понимаешь, как у ландыша, только поменьше. В середине трубочка, да? В пальцах потрешь — немножко луком пахнет, немножко чесноком. На конце шарик. Такой, прижатый с трех сторон...

— Ладно, найду,— отмахнулся Кирилл.— Засиделись за эти дни, хоть подвигаться.

— Эх, сейчас, однако бы, в баньке попариться,— размечтался Федя,— с березовым веничком. А потом пельменей наварить. Ведро!

— Постой, куда, дорогой? — окликнул Другова Ко-

стя, заметив, что тот уже направляется к спуску.— Автомат мой возьми.

— Да я тут, рядом.

— Послушай, ты кто, боец или курортник? — Он встряхнул Кирилла за плечо.— Это передний край, понимаешь?!

— Все понял. Только трясти не надо, я же не половик.

Он сходил в блиндаж и вернулся с автоматом на шее, решительно одернул шинель и зашагал к первому уступу, где тропу преграждали массивные порфиритовые блоки.

— Наворочали на свою голову черт его знает что,— ругался он, съезжая по мокрому склону и хватаясь за острые обломки скалы.

Костя стоял на засыпанном щебенкой возвышении, где совсем недавно покоился Вислый камень, и откровенно смеялся, скаля ровные белые зубы, сидевшие плотно, как зерна в кукурузном початке.

Но Другов этого не замечал. Узкая теснина внизу, через которую они с сержантом еще несколько дней назад перебирались по снежному мосту, была сейчас скрыта в тумане. На склонах амфитеатра трава оказалась мокрой и скользкой, и Кирилл уже дважды припечатывался задом к земле. Каждый раз автоматный диск больно бил его под вздох, и он готов был проклинать и этот дождь и собственную неловкость, а заодно и свою дурацкую затею. Мокрые, испачканные землей руки начинали мерзнуть. Он останавливался, обтирая их о полы шинели, подносил ко рту и грел частым дыханием.

— Давай, давай, ходи! — долетел до него голос сержанта, повторенный эхом.

Травы было много, трава была всякая, но той, что нужна, никак не попадалось. Только метрах в трехстах, возле самых валунов, он увидел что-то похожее. Опустился на колени, помял в пальцах — нет, не пахнет.

Где-то над самым ухом прожужжала оса. И тут же что-то щелкнуло по валуну, выбив из него, как дымок, тонкую каменную пыльцу. Запахло кремнем, как это бывает, когда по нему ударяют стальным кресалом.

«Что за шутки?» — подумал Кирилл и повернулся лицом к перевалу.

И снова жужжание, и снова недалеко от его ног брызнул фонтанчик раскисшей земли. Только теперь он услышал звук отдаленного выстрела. Кирилл не успел еще осознать того, что происходит, а ноги уже сами подогнулись в коленках. Он присел за валун, прижавшись щекой к холодному мокрому камню. Сердце бешено колотилось, и мысли путались в голове, никак не желая выстраиваться в обычную логическую цепочку. Он все еще не мог поверить, что по нему стреляли.

Кирилл осторожно выглянул из-за валуна, напряженно вглядываясь туда, где были заросли рододендронов и где еще плавали клочья тумана. И вдруг каким-то боковым зрением у крутого склона он увидел троих немцев, явно пытавшихся незаметно обойти его слева. Еще немного, и это бы им наверняка удалось.

Стащив с шеи автомат и став на одно колено, он дал по ним короткую очередь. До Кирилла и тут не сразу дошло, что стреляет он, не глядя, в белый свет, как в копейку. Еще совсем недавно Кирилл и мысли не допускал, что может выстрелить в человека. Но сейчас на рассуждения времени не оставалось, он должен был защищаться. Для того, чтобы добраться до своих, надо было заставить эту троицу убраться или замолчать.

Вторая очередь ушла именно туда, куда следовало. Автомат, как живой, бился в его руках. Кирилл чувствовал его мощь, его убойную силу и от этого начал обретать уверенность. Когда в ушах утих звон, он услышал где-то далеко позади отрезвляющий крик своего сержанта:

— Быстрей назад! Перебежками!

Голос этот, звучавший будто из совершенно другого мира, вернул его к действительности.

И Кирилл побежал, пригибаясь и петляя по мокрой пружинистой дерновине луга. Через каждые двадцать шагов он падал, полз несколько метров по-пластунски, вскакивал и снова бежал. Он не сбивался с дыхания, не чувствовал усталости. В том, что он делал, не было определенного расчета. Какой-то неведомый компас, какие-то резервы, скрытые до поры в глубинах человеческого естества, направляли его, придавали ему повкость и силу.

Добежав до последнего бараньего лба, обглоданного ледником, он снова растянулся, слыша, как наверху судорожно, захлебываясь, тарахтит родной «дегтярь». Он с трудом оторвал от земли перепачканное грязью лицо и увидел Шонию, который во весь рост стоял на том же каменном постаменте и, прижав к боку приклад ручного пулемета, прямо из-под мышки рассыпал веер трассирующих пуль. И только когда Кирилл невероятным, почти акробатическим приемом взлетел на первую скальную ступень, сержант лег наконец и, поставив пулемет на сошки, стал поспешно заменять диск.

...Услышав автоматную очередь, Федя Силаев подумал сначала, что Кирилл стреляет по какому-то зверю, но команды, которые сержант выкрикивал во все горло, сразу же все поставили на место — началось!

Федя, не торопясь, надел каску, взял винтовку и вышел из блиндажа. Он увидел, как Другов мечется зигзагами по лугу, и понял, что по нему бьют из винтовок и автоматов. Потом его острые глаза различили далекие фигурки, перебегавшие от валуна к валуну. Он насчитал семь человек. Еще трое значительно выдвинулись вперед по левому склону цирка, видимо, решив отрезать Кириллу путь к отступлению.

Чуть косолапя, Силаев подошел к каменному гребню и улегся поудобнее, прикидывая на глаз расстояние до ближайшей цели. По его расчетам получалось что-то около шестисот метров. Под бок ему давил какой-то голыш, и он отбросил его в сторону. В этот момент Федя увидел бледного сержанта, птицей вспорхнувшего на высокую скальную площадку и ставшего там на виду у всех с пулеметом в руках. «Вызывает огонь на себя,— решил он,— отвлекает внимание от Кирилла...»

Костя дал первую очередь, и желто-зеленый пунктир светящихся пуль прошил дымку тумана над конечной мореной.

— Ну, заразы, давай! Ближе давай! — выкрикивал он в каком-то гневном исступлении. Было что-то героическое и в то же время чуточку театральное в его позе.

Грохот пулемета спугнул красноногих альпийских галок, которые поднялись в воздух и с криком закружились над перевалом.

Все так же тщательно, не спеша Федя поставил нужный прицел, прижал поплотнее приклад, поерзал животом и стал ловить цель в скрещенные паутинки. Поняв, что отрезать Кирилла им не удастся, эти трое слева тоже открыли огонь. Федя видел, чем это грозит. В поле его зрения попал наконец здоровенный немец в болотного цвета френче и такой же суконной шапочке с козырьком. Федя спокойно задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Приклад отдал в плечо, в ушах зазвенело, но немец по-прежнему продолжал бежать, спотыкаясь и время от времени постреливая из своего малень-

кого черного автомата. Вот он остановился и нагнулся, вытаскивая что-то из широкого раструба коротких кожаных голенищ. Наверное, это был запасной рожковый магазин.

Федя снова прицелился, так же аккуратно и обстоятельно, как на занятиях в школьном тире, и выстрелил, даже не моргнув глазом. Немец споткнулся и упал.

Потом поднялся, проскакал немного на левой ноге, придерживая рукой правую ступню, и еще раз упал прямо лицом в траву. К нему подбежали двое, подхватили под руки, пригибаясь, поволокли через заросли рододендрона.

За спиной у одного из солдат раскачивался гибкий прут антенны.

А Федя стрелял по-прежнему методично, с расстановкой, стараясь экономить каждый патрон. Он видел, что противник отходит, постепенно скрываясь в тумане.

Другов наконец-таки выбрался на седловину, держа в одной руке автомат, а в другой — длинный конец распустившейся обмотки. Он опустил возле Феди на землю автомат и ругнулся:

— Сволочь, развязывается все время...

Поставив ботинок на камень, он пытался заново накрутить обмотку. Но нога противно подпрыгивала сама собой, и он ничего не мог с этим поделать.

— Со свиданьицем,— тихо улыбнулся Федя, поднимаясь на колени.— Замерз, однако? Гляди, как тебя колотун бьет.

— Н-ничего,— с трудом выдавил Кирилл сквозь сухие побелевшие губы.— Ничего... Древние говорили... тот, кого любят боги, умирает молодым...

Подошел Костя, держа тяжелый пулемет за еще не остывший кожух.

— Убить нас мало — сколько, понимаешь, патронов зря пожгли.

— А почему сигнал не давали? — спросил Кирилл.

— Зачем сигнал? — пожал плечами Костя.— Какая-то там, понимаешь, пятерка вонючих фрицев... Так у нас, дорогой, завтра ни одной ракеты не останется. Они только пощупали нас. Проверили на вшивость. Через пару дней наши придут, тогда доложим, если завтра снова не потревожат. Кто-то из нас, помоему, подстрелил одного. Наверно, ты, Федя?

— Ну-у...

— Клянусь, молодец! Один-ноль в нашу пользу. Теперь сознайся, дорогой, страшно было? Боялся чуть-чуть?

— А чего бояться-то? — невозмутимо ответил Федя.

И Костя поверил. В широко расставленных глазах Силаева, отливавших холодной свинцовой голубизной, нельзя было заметить и следов перенесенного испуга.

— Ну что ж, Федя,— протянул руку Кирилл,— поздравляю тебя со вступлением во вторую мировую войну.

— Одного не пойму,— в раздумье сказал Костя,— зачем, понимаешь, они огонь открыли, если хотели тебя врасплох захватить?

— Ну, с автоматом я б им живым не дался. Это они понимали. Вот и спровоцировали на стрельбу, ждали, наверное, когда у меня патроны кончатся. А иначе зачем?

Первый страх прошел у Кирилла, и нервная дрожь уже не сотрясала поджилки, но он был все еще разгорячен боем.

— А ты чего на пьедестал вылез? — повернулся он к Шонии.— Памятник изображал? Стоит, как Пушкин на Тверском бульваре...

— Ты в армии не новичок,— погрозил ему пальцем сержант.— Пора запомнить: подчиненные не обсуждают действия начальников. Но и ты, дорогой, хорош, честное слово! Я любовался, когда ты прыгал, как тур, как, понимаешь, настоящий горный козел.

— Бежал, как заяц, вспоминать стыдно,— махнул рукой Кирилл. Он не боялся принизить себя в глазах товарищей, поскольку знал, что в его положении так вел бы себя каждый.

— Не-еверно, теперь ты настоящий горец, да? — крепко сжал кулак Костя.— Извини, дорогой, за тот разговор, но лапа у тебя подходящей конструкции. Площадь опоры и этот... крепкий голеностоп, как говорят альпинисты...

7

Ночью было особенно холодно. Облака наконец уплыли за горизонт. Остро сверкали близкие звезды.

Когда Кирилл сменял на посту Шонию, тот только спросил:

— Мерзнешь? — и между прочим добавил: —Завтра отогреешься, дорогой. Ха-арош-ий день будет!

Костя не соврал. Погодка действительно выдалась на славу. С утра солнце сияло так же рьяно, как в первые дни. Еще до завтрака сержант объявил приказ:

— Всем помыться, побрить физиономии, почистить обмундирование и оружие. На исполнение — один час.

И ребята скребли пушок на подбородках, плескались, трясли шинели и приводили в порядок оружие. После завтрака стали набивать патронами пустые пулеметные диски. Костя распечатал цинковую коробку с непонятной маркировкой, вытащил винтовочный патрон, потрогал пулю с зеленой головкой.

— Другов! — крикнул он.— Тут один цинк трассирующих, да? На диск их должно идти восемь штук. Каждый шестой, понимаешь?

— Понимаю,— ответил Кирилл, спускаясь в полутемный блиндаж и подставляя сержанту перевернутую каску.— Сыпь, не жмись...

Снаружи послышался крик Силаева:

— Эй вы, самолет!

Костя выскочил наружу, приложил ладонь козырьком к глазам:

— Где?

— А послушай — гудит.

— Быстро все вещи в блиндаж! — распорядился он.— Заливай угли!

Кирилл вытряхнул патроны на нары, набрал в каску воды из фляги и плеснул в топку. Печка шумно выдохнула струю пара, смешанного с тонким белесым пеплом.

— Вон,— первым заметил самолет Федя.

— Ладно, не маши руками, дорогой,— попросил Костя.— Сиди и смотри. Маскировка нужна, понимаешь?

Они пристроились в глубине выемки, на ступеньках, у самого входа в блиндаж. Кирилл, откинув плащ-палатку, тоже следил за небом. Самолет шел вдоль хребта на громадной высоте, оставляя за собой белый инверсионный след, похожий на бесконечно длинного кольчатого червя.

— Рама,— сказал Костя.

— Фокке-Вульф — сто восемьдесят девять,— со знанием дела уточнил Другов.

— Какая разница, дорогой, как он там называется. Разведчик, да? Это для нас, понимаешь, самое главное. Сиди в норе, как мудрый хомяк, и молчи.

Самолет скрылся на юго-востоке, расползся, растаял в небе его облачный след.

— Не заметил, однако,— с облегчением сказал Федя, поднимаясь первым.

— Не должен был,— согласился Костя.— Сверху наш блиндаж — это куча камней и щебня. Даже в такой день.

— А ты молодец,— похвалил Кирилл,— погоду предсказал точно.

— Тут закон такой, да: ветер с моря — значит, дождь или снег, с севера или востока — жди ясной погоды.

Они снова принялись за прерванное занятие, время от времени поглядывая в сторону цирка. Не удивительно, что после вчерашнего бойцы заслона стали осмотрительнее.

— А откуда ты по-русски так хорошо знаешь? — спросил Федя сержанта.

— Я же русскую школу кончал, дорогой. Книги читал. Потом, думаешь, зря я столько по горам лазил? Все время туристы. Какие! Академики, профессора...

— Слушай,— сказал Кирилл,— ты что, так и ходил бы с туристами до глубокой старости, если б война не помешала?

— Зачем, дорогой? Я уже документы в техникум послал, да, хотел медицинским работником стать, как мой отец.

— А он что, в больнице работает,— спросил Кирилл,— или в санатории? У вас ведь, куда ни плюнь, обязательно в санаторий попадешь.

— Он ишаков, лошадей, буйволов лечит. Он ветеринар, дорогой. Уважаемый человек! В селе живет. Война кончится, приезжай вместе с Федей. Клянусь, дорогим гостем будешь. Вино, грецкий орех, гранат, мандарин...

— Мушмула,— подсказал, улыбнувшись, Кирилл.

— Это так, да, вместо заборов у нас,— пренебрежительно скривился Шония.— Ша-ашлык делать будем...

Солнце поднялось достаточно высоко и начало не на шутку припекать. Костя первым решил снять шинель.

— Что это? — неожиданно сказал Федя, привставая.— Опять, что ли...

Костя двумя прыжками подскочил к торчащим сланцевым плитам, присел на колено, сверля глазами прозрачную дымку над далью альпийского луга.

— Точно — идут,— подтвердил сержант и уже другим голосом скомандовал резко: — Надеть каски! По местам! К бою! Силаев, живей, дорогой, живее...

Другов со своим тяжелым ДП подбежал к скальной площадке, на которой они еще в первый день выложили из крупных камней некое подобие бруствера, и стал устанавливать пулемет. Острые стальные сошки скользили по гладкой плите.

Повинуясь окрику сержанта, Силаев чуть быстрее, чем накануне, занял позицию для стрельбы лежа. Потом все-таки покрутился и, приподнявшись на колени, снял шинель. Он аккуратно сложил ее и подстелил под себя.

Костя выбрал удобный проем в плитах, напоминающий узкую крепостную бойницу, и с нетерпением поглядывал на Федю.

— Патроны беречь, без команды не стрелять,— распорядился он.— Подпустим на двести метров, до последних валунов. Тогда они будут все, понимаешь, как на ладошке. Тут мы их, как клопов, подавим.

— А ведь их только четверо,— отозвался со своего места Кирилл.— Странно...

Действительно, у щебенчатого вала конечной морены, замыкавшей вход в обширную воронку древнего ледникового цирка, обходя крупные валуны, шли четыре человека. Двигались они гуськом, стараясь ступать след в след.

Похоже было, что последний слегка прихрамывает. Он все время отставал, и те трое, что шли впереди, вынуждены были часто останавливаться, поджидая его.

— Куда они прутся? — поднял голову Кирилл.— Прямо под пули. Может, затевают что?

— А шинели-то серые,— заметил Федя.

— Да ведь это же наши,— подскочил Кирилл.— Наши!

— Погоди, дорогой, спокойно,— нахмурился сержант.

Четверо неизвестных так долго тащились по лугу, что у Кирилла терпение лопнуло.

— Да что они, три дня не ели, что ли?

У первого, который был ростом пониже, что-то темнело на поясе, похожее на кобуру пистолета. Второй и вовсе, казалось, не имел при себе оружия. И только у двух последних из-за плеч откровенно торчали стволы карабинов. Длинная кавалерийская шинель отставшего целиком скрывала его ноги.

— Вторая-то баба, однако,— определил Федя.

— Какая баба, дорогой? — возмутился Шония.— Женщина, да? Жен-щи-на! Спокойно, спокойно, пусть подойдут ближе.

Когда незнакомцы добрались до самой подошвы гряды и поднялись ко второму уступу, Костя шагнул к краю обрыва и резко окликнул их:

— Стой! Кто идет?

Шедший впереди вздрогнул от неожиданности, и рука его машинально потянулась к поясу.

— Руки! — Костя вспрыгнул на торчавшую плиту и встал там в живописной позе, держа автомат наизготовку.

— Свои,— обрадованно ответил первый, поднимая руки и показывая, что в них ничего нет.— Я младший лейтенант Киселев.

— Бросай оружие! — скомандовал Костя.— По одному наверх, живо!

Киселев неохотно вытащил из кобуры пистолет и продолжал нерешительно вертеть в руках. Боец, одетый в кавалерийскую шинель, послушно стащил карабин и откинул его в сторону. Предпоследний, что был выше всех ростом, немного помешкав, пожал плечами, но все же последовал его примеру.

— Бросай, я кому сказал,— с явной угрозой повторил Костя.

— Тут кругом камни, жалко,— ответил Киселев.— Щечки эбонитовые — разобьются...

— Я тебе покажу щечки!

Киселев нагнулся, положил пистолет на плоский камень и стал карабкаться по склону, хватаясь за острые края блоков. Когда он поднялся на седловину, сержант приказал Силаеву обыскать его.

— Послушай,— Киселев отступил на шаг,— я командир Красной Армии, младший лейтенант...

— Это с какой стороны посмотреть,— говорил Костя, пока Силаев ощупывал у Киселева бока и карманы.— Если с левой стороны, то вы действительно младший лейтенант, если с правой — рядовой боец.

Киселев покосился на свою защитную фронтовую петлицу и смущенно пожал плечами:

— Ты смотри, действительно. Потерял кубарь...

— Документы есть?

— А как же, удостоверение личности.— И он, сдвинув портупею и отстегнув крючок на шинели, полез в карман гимнастерки.

Костя придирчиво осмотрел удостоверение, бегло сличил фотографию с оригиналом. Он был еще очень молод, этот Киселев. От усталости или от голода у него заметно ввалились глаза и запали щеки.

— Командир минометного взвода,— укоризненно сказал Костя.— А где же ваши минометы?

На скулах младшего лейтенанта вздулись желваки.

— Мы из окружения вырвались. Минометы в реке утопили. Люди погибли. Все до одного. Даже раненых не осталось. Это трудно представить, что там было...— Губы его задрожали.— Мы четверо суток почти ничего не ели...

— Это ваши люди? — кивнул в сторону Шония.

— Вот тот длинный, Володя Конев, пристал по дороге, а другой красноармеец мой. Ездовой Азат Бакиров.— Он покашлял в кулак.— Узбек. По-русски говорит плохо, но все понимает.

— А хромает почему? Ранен, что ли?

— Ерунда, натер ногу.

— А девушка?

— Была санинструктором в роте.

— Почему — была? — спросил сержант.

— Потому что роты больше не существует,— помрачнел Киселев.

— Подымайтесь! — махнул Костя остальным.

Девушка стала взбираться на кручу, а боец в длинной шинели все стоял в нерешительности, поглядывая на валявшиеся карабины.

— Пинтопка брат? — спросил он.

— Давай! — разрешил Шония.— И пистолет командира подбери.

Девушка оказалась на полголовы выше Киселева. У нее было широкое открытое лицо, светлые глаза и потрескавшиеся губы. Стриглась она коротко, по-мужски.

— Военфельдшер Сулимова,— представилась она, все еще шумно дыша. Глаза ее сияли радостью.— Лина Сулимова. Документов у меня нет,— добавила она,— только вот комсомольский билет. Вы не представляете, мы так счастливы, что дошли до своих...

— Клянусь, мы счастливы не меньше,— лучезарно улыбнулся Костя, взглядом достойного ценителя окидывая девушку с ног до головы.— Сержант Шония, старший в группе заслона. Силаев! — крикнул он начальственно.— Доставай, что там у нас осталось. Надо, понимаешь, скорее людей накормить. Другов, прими у красноармейца Бакирова оружие.

— Кто такой? — подошел Костя к четвертому бойцу.

Тот был довольно высок, и на вид ему можно было дать лет тридцать. Щеки его обросли густой неопрятной щетиной, напоминавшей затертую сапожную щетку. Бросался в глаза приплюснутый нос.

— Боец Конев,— вяло ответил он.— Служил в полковой разведке.

«Сломана переносица,— отметил про себя Костя.— Уж не из боксеров ли?»

— Из окружения? — спросил он.

— Громче говорите,— подсказала военфельдшер,— он контуженный.

— Из окружения? — повысил голос Костя.

Красноармеец вздрогнул, как от удара, и зрачки его расширились.

— Нет! Ни в каком окружении я не был! — крикнул он с непонятным ожесточением.— Привыкли, чуть что — в плену, в окружении. На задании был. Выходили, кто как мог. Кто уцелел, тот и вышел.

— А документы какие-нибудь сохранились?

— Чего-чего? — не расслышал боец.

— Документы, говорю, есть?

Конев шагнул к сержанту и, оттянув мочку уха, подставил ему голову:

— На, смотри! Кровь засохшую в ушах видишь? Вот это и все документы. В разведке мы были, понял? Документы командиру взвода сдали. Порядок такой. Пора знать...

Костя только сейчас заметил, как лихо этих людей потрепала судьба. Оборванные полы шинелей висели бахромой, а у младшего лейтенанта возле самого кармана зияла дыра с обуглившимися краями. На разбитых кирзовых сапогах налипла в несколько слоев грязь.

У Бакирова вид был особенно жалкий. Большая, потерявшая форму пилотка была натянута до ушей, будто сырой пирог с маху надели ему на голову. Измазанная глиной кавалерийская шинель была явно с чужого плеча.

— Что это он у вас одет, как пугало?—спросил Шония у младшего лейтенанта.

— Свою шинель в бою потерял,— объяснил Киселев,— а это... это мы уже с убитого сняли...

Прибывших накормили манной кашей, щедро выложив в нее последнюю банку тушенки, а вместо чая в кипяток налили побольше сгущенного молока из НЗ. О том, что люди несколько дней голодали, можно было догадаться и без расспросов.

Когда Киселеву дали ложку и придвинули котелок, рука его заметно дрожала. Он помял, помассировал горло. По всей вероятности, его мучили голодные спазмы. Конев, прежде чем есть, понюхал кашу: уж не отраву ли ему подложили? Жевал он угрюмо и сосредоточенно. Бакиров, напротив, ел шумно и быстро, низко наклонив голову, словно боялся, что у него отнимут котелок. И только санинструктор Лина старалась не ронять достоинства, вроде бы очередной раз пришла на обед в тыловую военторговскую столовую.

— Оружие нам вернешь? — уже допивая кипяток, спросил Киселев.

— Не положено, понимаешь? — смутился Костя.— Служба...

— А если немцы сейчас полезут?

— Другое дело, дорогой. Совсем другое дело. Думаешь, мы вам не верим, да? На, забирай свой пистолет! Не жалко. Но мне, понимаешь, неприятности будут. Завтра старшина придет, отведет вас на заставу, там все получите.

Кирилл всячески подавал сержанту знаки: отдай, мол, не видишь, свои. Но Костя отвернулся, будто ничего не замечает. Конев сидел нахохлившись, как больная птица.

— Винтовку бы почистить положено,—как-то невпопад сказал он младшему лейтенанту. Конев явно не слышал его разговора с сержантом.

— Нельзя! — крикнул ему на ухо Киселев.— Отобрали у нас оружие.

— Совсем?

— До особого распоряжения. Говорят, проверят нас, тогда вернут.

— Опять за старое? — начал медленно вскипать Конев.— Опять, суки, за старое?!

Костя побледнел и сжал кулаки.

— Володя, миленький, не шуми,— бросилась к нему Лина,— тебе покой нужен.

— Покой нужен им,— Конев ткнул пальцем в сержанта,— этим мародерам! — Он весь трясся, на губах белой пленкой выступила пена.— Вечный покой в братской могиле.

— Володя, ты что говоришь, опомнись,— уговаривала его Лина, держа за плечи.

— Пошла вон, стерва! — гаркнул он, сбрасывая руку военфельдшера. И уставился на Федю.— Глянь, морды понажрали...

— Конев, прекрати! — крикнул Киселев.

Но тот уже шагнул к Косте:

— Отдай винтовку по-хорошему, добром прошу.

— Не отдам, не имею права!

Глаза Конева побелели, плоский нос раздувался. Он был сейчас явно невменяем.

— Перестань,— снова крикнул Киселев, вставая между ним и сержантом.— Я тебе приказываю, слышишь? А то дождешься — свяжем.

— Это вы завели меня в ловушку! — повернулся к нему боец.— Только хрен у вас такой номер пройдет. Уйду назад, откуда пришел, и все тут.

Он оттолкнул Киселева и пошел к спуску. Костя загородил ему дорогу.

— Ты что, умом тронулся, да? — сказал он.— Хочешь, чтоб расстреляли как дезертира?

Конев присел, ощерился, точно зверь, готовящийся к прыжку, и вдруг выхватил что-то из-за голенища. На солнце зеркально сверкнуло лезвие финки.

— С дороги, сопляк!

Костя на всякий случай отскочил в сторону, хотя Конев и не пускал в ход своего оружия.

— Остановись! — крикнул он.— Пристрелю!

Федя поднял винтовку и пальнул в воздух. Конев метнул на него взгляд и неожиданно, резко отскочив в сторону, бросился бежать вправо по хребту.

Федя спокойно поднял ствол и стал ловить беглеца на мушку. Подскочил Кирилл, толкнул снизу винтовку:

— Ты с ума сошел, он же больной, он контуженный! — И сам бросился вдогонку.— Стой,— отчаянно закричал Кирилл,— стой! Там мины!

Услышал его Конев или нет, но он тут же рванулся влево, взлетел на сланцевый гребень, сорвался, повис на руках и спрыгнул на уступ. Кирилл даже зажмурился. Он был уверен, что Конев костей не соберет. Но тот уже мчался вниз. Упал, проехался на спине по щебнистой осыпи, вскочил и снова побежал к валунам, делая на бегу заячьи «скидки», ныряя между камней.

С площадки резанул пулемет. Это Костя с отчаяния решился на последний шаг. Кирилл бросился назад, размахивая длинными руками, как мельничными крыльями:

— Не стреляйте! Не надо!

Пулемет умолк. Сержант поднялся бледный, вытирая со лба пот.

— Зря вы, ребята,— сказал Киселев.— У него это пройдет, и он вернется. Деваться ему все равно некуда. Не пойдет же он к немцам сдаваться.

— А черт его знает,— пробормотал Костя.

— День-два походит и остынет. Жрать-то надо. У него ведь, кроме этой финки несчастной, и оружия нет.

Все были взволнованы случившимся. Возбуждение проходило медленно. За что ни брались, все валилось из рук. Лина, расстроенная до слез, сняла шинель и разложила ее посушить на солнце.

— Может, помоетесь, товарищ военфельдшер? — предложил Костя.— Вода свежая, утром натаскали.

— Для начала бы вздремнуть полчасика,— виновато улыбнулась она,— потом уж...

— Спускайтесь в блиндаж, там нары.

— Доконал девку Володька,— покачал головой Киселев.

— Все-таки откуда он взялся, этот псих?

— Да мы его только позавчера встретили. Ну, обрадовался он, предлагал вместе партизан искать. Я ему говорю, тут фронт, какие сейчас партизаны. Давай к своим пробиваться. А он: я, мол, к своим уже раз пробивался из окружения. В октябре сорок первого под Вязьмой. Потом шесть месяцев в сортир под конвоем водили. Проверяли все. Больше не хочу. Лина стала объяснять ему, этому дураку, что его лечить надо. Кое-как уговорили.

Подошел Бакиров, тяжело волоча ноги, остановился, потупившись.

— Чего тебе? — спросил Костя.

— Давай пинтолка, назад пинтолка давай,— забубнил он.

— Не положено, Азат,— ехидно пояснил Киселев.— Не положено. Кто тебя знает, чем ты там внизу занимался. Может, ты немецкий шпион. Может, ты душу шайтану продал.

— Какой шайтан?— подался назад красноармеец и стиснул маленькие, сухие кулаки.— Мой стрелял, да, мина бросал,— и он жестом показал, как опускал мины в ствол миномета.— Когда все убитый был, мой пинтолка не терял, один штык терял...— Лицо его вдруг искривилось судорогой, запрыгали губы, и по темным щекам грязными ручейками потекли слезы.

— Может быть, хватит на сегодня спектаклей?! — вскочил Костя.— Ну, чего разревелся? Пойди умойся. Другов, отдай им оружие. Клянусь, подведут меня под монастырь...

— Чего волноваться, там все равно ни одного патрона,— успокоил его Киселев, щелкнув затвором.

Получив пистолет, младший лейтенант заметно воспрянул духом. Он подробно рассказал, как их поредевшая в боях часть отходила вверх по горной реке. Его взвод — всего два батальонных миномета — вместе с остатками стрелковой роты были в прикрытии. Они отставали от основной колонны более чем на километр, подрывали и жгли за собой мосты, отбиваясь от наседающего противника. И тут впереди послышались взрывы гранат и трескотня автоматов...

— Это, верите, было полной неожиданностью,— рассказывал Киселев.— Стало ясно, что колонна нарвалась на засаду. Ущелье узкое, не развернешься. Видимо, немцы сумели каким-то образом опередить нас и зайти с тыла. Скорее всего они пропустили головную заставу, а основное ядро встретили таким шквальным огнем, что головы не поднимешь. Их, сволочей, не видно, а мы — вот они, как на блюдечке. Сзади теснят, вперед не сунешься, кругом отвесные скалы да река...

Младший лейтенант вытер со лба пот и помолчал некоторое время. Он был совсем, совсем молодой. Может быть, чуть постарше Силаева.

— Закурить не найдется? — спросил он устало.

Костя с готовностью развязал кисет.

— Короче, никто не вышел,— сказал Киселев и шумно сморкнулся двумя пальцами.— Все там остались. Вы когда-нибудь видели настоящую бойню? Я не видел. Но теперь знаю, что это такое. Лежат вповалку друг на дружке... У меня всех побило. Последние мины мы с Азатом уже вдвоем выпустили, последние патроны расстреляли. А тогда — минометы в речку, и сами на тот берег. Местами-то с головой было. Азат чуть не потонул. Вода ледяная, об камни бьет. В тот момент ничего не чувствовал. Как выбрались на другую сторону, до сих пор не знаю. Помню только, в кусты нырнули, а тут на счастье сухое русло. Ложбина в горе промыта. По ней-то мы и пошли. Там вскорости Лину встретили. Она раненого на себе тащила. Тоже насквозь мокрые и оба в крови. Сели, воду из сапог повыливали и дальше, дальше. Раненого по очереди волокли. Только умер он на второй день. В шею был ранен. Похоронили там кое-как. Шинель его Азату досталась.

— А что, немцев так ни разу и не встречали?— спросил Костя.

— Вчера чуть было не нарвались. Вовремя голоса услышали. Пришлось обходить, прятаться. Без патронов, с пустыми руками много не навоюешь. А карты нет — и вовсе как слепые. Шли вверх по

ручьям, главный водораздел искали. На вас мы уже случайно вышли.

— А что за части у немцев, не слыхали?

— Эдельвейсы, черт их подери. Первая альпийская дивизия. Полк вот забыл, наши разведчики говорили...

— Ладно, отдыхайте,— сказал, поднимаясь, Костя,— набирайтесь сил. До вечера времени много. Это мне теперь глаз не сомкнуть.

Силаев отозвал его в сторону.

— Оружие ты им, однако, зря вернул,— шепотом заговорил он.— Помнишь, о чем капитан говорил?

— Ты что, за шпионов их принимаешь?— рассмеялся Костя.

— Да не-е, я не о том. Инструкция... Для чего же нас тут поставили? И Кирилл твой чумной какой-то. Долбанули бы этого дезертира, и делу конец. А теперь думай...

После ужина Силаев заступил на пост. Погода начинала портиться.

Костя спустился в блиндаж. Киселев о чем-то возбужденно рассказывал Кириллу. Остальные тем временем зажигали огонь в печке. Снаружи доносились резкие порывы южного ветра. Похоже было, что снова дождя надует.

— Лина у нас героическая девушка,— говорил Киселев.—Представляешь, одна раненого через такую речку...

— Надо же,— засмеялась санинструктор. У нее были покатые округлые плечи и широкие в кости крестьянские руки.

— Я серьезно, братцы. Война — ее призвание.

— Что ты,— встрепенулась Лина.— Война — это прежде всего беда. Если у меня и есть настоящее призвание, так это доить коров. Мне корова сроду давала молока на два литра больше, чем остальным.

— Выходит, слово особое знаешь.

— Это точно. У нас говорят: ласковое словечко и скотине любо. Еще девчонкой, помню, была, в хлеву приберу, все выскребу, соломки свежей постелю, занавесочки марлевые на оконце повешу. Цветы даже приносила. Дою коровушку, лбом к теплому животу прижмуся, а сама песни ей напеваю. Молоко в подойник — цвирк, цвирк. Она слушает, ушами водит и глаз такой большой, выпуклый косит на меня. Реснищи вот такие...

— С коровой, наверно, проще,— вздохнул Костя,— а вот с человеком как?

— Сержант, плюнь на все,— махнул рукой Киселев.— Жив, и слава богу. А про Володьку не думай. Никуда он не денется.

В трубе весело зашумело пламя, распространяя приятное умиротворяющее тепло. Запахло горячей кирзой и распаренным сукном шинелей. Младший лейтенант, выспавшийся и теперь захмелевший от сытости, поправил на плече портупею и вдруг стал напевать простуженным голосом, подыгрывая себе на воображаемой гитаре:

Пусть другой вернется из огня,
Снимет боевые он ремни...
Лина,
пожалей его и, как меня,
Нежно, крепко обними...

Сулимова растроганно потрепала его по голове. Пихтовые дрова трещали, постреливая через открытую дверцу жаркими искрами. Железные бока печки раскалились до вишневого цвета, бросая на лица багровые отсветы.

8

Дав короткую передышку на один-единственный день, будто специально для того, чтобы люди смогли обсохнуть и воспрянуть духом, небо снова отгородилось от них плотной завесой туч. Почти всю ночь, не переставая, резал косой дождь. При сильных порывах ветра он всплесками барабанил по натянутой плащ-палатке. Только утром дождь прекратился на короткое время, и, пользуясь этим, все выбрались наружу, чтобы помыться и поразмять кости.

Временами на перевал наталкивалось одиноко блуждающее облако, этакий «Летучий голландец» из нижнего яруса облаков, и тогда все тонуло вокруг в белесоватой мути, словно в курной бане, когда там хорошенько наддадут пару. Облако мягко обволакивало, забивало легкие, и людям становилось трудно дышать.

Кирилл все время думал о Коневе. Где его носит под этим дождем? А может, он и вправду решил податься к немцам? В это не хотелось верить...

Лина закатала рукава выше локтя и широко расстегнула ворот гимнастерки. Азат, так со вчерашнего дня и не снимавший своей шинели, сливал ей в пригоршни воду. Выше запястий у санинструктора были белые, как сметана, руки, которых, наверное, ни разу за все лето не коснулось солнце, и такая же молочно-белая шея. Защитную хлопчатобумажную юбку так распирали мощные бедра, что, казалось, она вот-вот затрещит и разлезется по швам. Шония и Киселев украдкой наблюдали за Линой, впрочем, делая вид, будто она их не интересует.

Снова пошел дождь, и младший лейтенант направился к блиндажу.

— Как думаешь,— повернулся он к Косте,— меня сразу пошлют на передовую?

— Наверное, отдохнуть дадут, да?

— На кой черт мне их отдых...

— Наши идут! — раздался вдруг торжествующий возглас Кирилла.— Старшина и еще двое.

— Наш Остапчук никогда никуда не опаздывает,— сказал Костя.— По нему, понимаешь, часы проверять можно.

Вместе со старшиной на перевал пришли политрук роты Ушаков и молчаливый пожилой боец Саенко, которого в роте старались использовать на всяких хозяйственных работах. На нем красовалась кубанка с полысевшим каракулем. Поверх нее он натянул серый башлык, длинные концы которого были замотаны вокруг шеи. Саенко вел под уздцы навьюченную лошадь. Все трое тяжело переводили дух и с любопытством поглядывали на неожиданное пополнение. Их тяжелые, набухшие от дождя шинели стояли колом.

Слушая доклад сержанта о событиях последних дней, Ушаков только хмурился и кивал головой. Мокрая брезентовая фуражка с прямым козырьком не могла скрыть смертельной бледности на его скулах и побелевшем кончике носа. Он хрипло дышал и держался за грудь.

Первым делом Ушаков пригласил в блиндаж Киселева и его спутников, а бойцы заслона так и ринулись к старшине. Больше всякого продовольствия они ждали писем.

— Нема, хлопцы,— развел руками Остапчук.— Оце, мабуть, ще пишуть. Шось наша полева пошта плохо робэ. Ото з Москвы письма аж через той... Ташкэнт шлють,— кисло пошутил он.

— Ну, это далеко — Москва, Сибирь, понимаешь? — возмущался Костя.— А я, дорогой, из Очамчиры письмо жду, да? Тут раз-два пешком дойти можно.

— Оце тоби, Шония, подарунок замисть письма,— запуская руку в карман шинели, объявил старшина.— Пэрчина! Горлодер. Щоб дома не журылысь.

— Спасибо, Остапчук, спасибо, дорогой. Живи сто лет! — обрадовался подарку Костя и тут же спросил: —А что с нашим политруком, болен он, что ли?

— Асма у його,— сердито махнул рукой старшина,— грудна жаба! А он у ци, у горы. Нз вдержишь...

Когда развьючили лошадь и затащили продукты в блиндаж, политрук уже заканчивал разговор с киселевцами. Судя по всему, его результатами он был доволен.

— Мне б и с вами троими потолковать,— подозвал он Шонию.— За зтим и шел.— Он повернулся к Остапчуку.— Прикажите Саенко, пусть побудет за наблюдателя, пока мы тут управимся.

Ушакову хотелось остаться с бойцами заслона наедине, но и под дождь выгонять людей было как-то не с руки. Народу в тесном блиндаже набилось так много, что стало душно и пришлось откинуть плащ-палатку. Свет, проникший через проем, сделал заметной густую сетку мелких морщинок на лице политрука.

Ушаков снял фуражку и пригладил редкие волосы.

— Когда мы шли сюда,— сказал он,— я все думал, с чего бы начать. Мне ведь по должности и по совести коммуниста положено поднимать боевой дух в подразделении. А задача зта сейчас не из легких: положение наше скверное, хуже некуда... Подумал, может, сказать какие-то общие слова о чести, о славе, об Отечестве. Вспомнить, наконец, о комсомольском долге, о героях-панфиловцах. Такие разговоры бывают нужны и полезны. Но не сейчас...— Он замолчал и полез в карман за табаком.— Сейчас нужно что-то другое, совсем другие слова, я бы сказал, ошеломляющие, как удар злектрического тока. В конце концов всем нам пора встряхнуться, заново осознать себя. И решил: нет ничего ценнее доверия к товарищу, нет ничего лучше правды.

Заметив, что политрук катает в пальцах свернутую «козью ножку», Костя поспешил чиркнуть зажигалкой. Ушаков прикурил и кивнул благодарно, машинально разгоняя рукой дым.

— На Сталинградском фронте немцы практически подошли к Волге,— сказал он.— Судя по всему, там развернутся серьезные сражения. Позавчера в дивизии был бригадный комиссар, член Военного совета армии...— Ушаков некоторое время колебался, нужно ли быть уж настолько откровенным, принесет ли пользу его обнаженная правда. Потом расстегнул воротник, словно ему не хватало воздуха, и вытер выступившую на лбу испарину.— Еще пятнадцатого августа противник занял Клухорский перевал, неделю назад сбил наши заслоны и прорвался на Санчаро, тут, рядом, а двадцать первого фашисты подняли свой флаг на вершине Эльбруса...

— Ва-ах! — Костя изо всей силы хватил кулаком по нарам, сдавил лоб растопыренной пятерней, что-то бормоча на родном языке. Было неясно, шепчет ли он заклинания или матерится.— Сами водили, сами дорогу им показали...

Политрук посмотрел на сержанта без осуждения. Другов чувствовал, как у него от волнения холодеет кожа между лопатками. Федя Силаев сидел с приоткрытым ртом, ловя каждое слово.

— И все же,— хрипловатым голосом продолжал Ушаков,— неудачи я считаю временными. Ведь здесь, на Кавказе, на двоих наших приходилось до сих пор по три немца. Они имели двойной перевес в артиллерии. О танках и самолетах я уж не говорю, их у противника раз в десять, наверное, больше. И все-таки на Марухском перевале мы пока еще держимся. На днях к нам назначен новый командующий. Талантливый боевой генерал. Товарищи знают его по корпусу. А на заставу пришло дополнительное подкрепление, человек двадцать. Всех отправили туда же, на Левую Эки-Дару. С ними старший лейтенант и весь комсостав роты. Там сейчас жарко. Вот такие, стало быть, у нас новости...

— Что же делать теперь? — как-то само собой вырвалось у Кирилла.

Ушаков жадно затянулся несколько раз подряд, бросил окурок в открытую печь и оглядел лица людей, расположившихся на скрипучих нарах, сидевших на корточках, подпиравших притолоку. Они были сосредоточены и серьезны, как полководцы на Военном совете. Он видел: они ощущают свою причастность к великим событиям.

— Сейчас наша главная задача,— сказал политрук, потирая ладонью левую половину груди,— выиграть время, удержать перевалы до первого серьезного снегопада. Зимой тут никто не пройдет. Даже туры, на что уж вечные обитатели поднебесья, и те с наступлением зимы спускаются в долины. Пока мы будем накапливать силы, подтягивать резервы, перегруппировываться для контрудара, в заслоне будут стоять глубочайшие снега и горные лавины, трескучие морозы и такие метели, которые не снились даже альпийским стрелкам. Понятно, из зтого не сделаешь военной тайны, и немцы знают все зто не хуже нас с вами. Вот почему, я уверен, чем ближе к холодам, тем отчаяннее будут их попытки прорваться на южные склоны, к морю. И если нам в ближайшее время удастся отбить Санчарские перевалы, фашисты начнут искать другие обходные пути, они полезут во все щели, как тараканы. Вот почему важно держаться, вцепившись в зту землю зубами, и стоять, не схдя с места, как межевой столб.

Политрук резко поднялся и надел фуражку. Сразу же со своих мест повскакивали остальные.

— Однако высоковато вы забрались,—хрипло засмеялся он.— Тяжко, дышать нечем... Продукты мы вам кое-какие подбросили,—добавил политрук после небольшой паузы,— боеприпасов много не обещаем, вы и так живете не по средствам. А дрова, о которых докладывал Шония, заготовляйте сами по очереди. Мы их в следующий раз перевезем на вьюках. Старшина специально возьмет еще одну лошадь. С лошадьми тут проблема. Те, что пришли с равнин, в горы не идут, а местных не хватает.— И Ушаков вышел под дождь, где Остапчук с помощью Саенко уже приторачивал к седлу пустые вьюки и переметные сумы.

Младший лейтенант шагнул к Шонии:

— Я рад, Константин, что встретился с тобой, со всеми вами. Жаль, на войне трудно водить долгую дружбу. То ранили, то откомандировали куда, то еще что. Ну, будем живы! — И он хлопнул рукой по ладони сержанта.

— Не забывайте военфельдшера Сулимову,—улыбнулась Лина.

— Сулимова,— как бы про себя повторил Костя.— Наверно, не русская, да?

— Почему не русская? — даже с некоторой обидой спросила Лина.— Рязанская я, из Солотчи.

— Фамилия такая. Киселев — русский, Ушаков — русский, Другов — тоже, наверно, русский...

— Ты, конечно, решил, что Ушаков происходит от слова уши,— засмеялся Кирилл.— Фамилия зта,

товарищ сержант, татарского происхождения,— уязвил он приятеля.— Ушак значит малый.

— Да ну?! — поразился Киселев.

— Могу продолжить. Тургенев происходит от слова турген — быстрый, Аксаков — от аксак — хромой, Кутузов —от кутуз —бешеный... Так что фамилия, как видишь, ни о чем не говорит.

— Откуда, дорогой, ты все это знаешь?— развел руками Костя.— Ну и голова!

— Об этом нам рассказывали на обзорной лекции,— небрежно заметил Кирилл,— еще в начале первого курса...

Все стали выходить из блиндажа.

— Выступаем, товарищ политрук? — оживился Киселев. Дождь сеял ему в лицо, и он смешно морщил нос.

— Пора, пожалуй.

Азат Бакиров ощупал на животе пустые подсумки, убедился, на месте ли, потом поглубже надвинул пилотку и, вопреки уставу, поднял ворот шинели. Винтовку он держал цепко, не спешил вешать за спину.

Лина потуже затянула ремень на шинели. Несмотря на внушительные формы, талия у нее была выражена отчетливо. Она пританцовывала, потирала руки, то и дело облизывая обветренные губы.

— Спасибо вам, ребята, за хлеб-соль,— помахала она рукой Косте, Кириллу и Феде, которые стояли у входа в блиндаж.— Вам это все зачтется. Азат, простись с ребятами,— подтолкнула Бакирова Лина.

Тот потоптался робко, сделал два шага вперед.

— Мой кзыл аскер, твой кзыл аскер,— дотронулся он до звездочки на своей пилотке.— Каша давал, нара давал, пинтопка давал, спасибо-рахмат.

На этом, видимо, запас русских слов был исчерпан, и он только кивнул головой, приложив ладонь к сердцу.

— Товарищ политрук,— обратился к Ушакову Костя,— вы бы нам оставили военфельдшера, да? Нам вот так санинструктор нужен.

Ушаков засмеялся:

— На такое мощное подразделение не положено. Санинструктор один на роту.

— Ну, пришлите хоть маленького, да? Хоть в два раза меньше...

Ушаков отмахнулся от него, с легкой укоризной покачав головой. Костя огорченно поцокал языком.

— А губа не дура,— подмигнул ему на прощание Киселев...

Когда почти весь отряд уже скрылся из глаз, густо заштрихованный строчкой дождя, шедшая позади Лина остановилась и прощально подняла над головой руку, молодая, рослая и сильная.

— Женщина! — не удержался Шония, глядя ей вслед.

— Куда уж,— покосился на него Кирилл.— Нашел божью коровку...

— Главное, душа, глупый ты человек! — наигранно воскликнул Костя, а подумав, добавил:— И фигура тоже...

Он демонстративно отвернулся и ушел в блиндаж, опустив за собой полог.

Федя жался под скалой, куда не так доставал дождь. Поверх шинели на нем была трофейная камуфлированная плащ-палатка, пожалованная заслону старшиной. Сейчас он был спокоен. Все в его сознании встало на свои места. Федя был уверен, что выдюжит. Он понимал обстановку и знал свою задачу, а что еще нужно бойцу?

Другова не могла не подкупить откровенность политрука. Значит, им верили, на них полагались, и



Кирилл пытался проникнуться сознанием собственной значимости. Он упорно убеждал себя в том, что именно здесь, через эту точку, проходит та воображаемая земная ось, вокруг которой все вертится. Ему необходимо было в это поверить!

Еще полчаса назад Кирилл был убежден, что все сомнения идут от лукавого, от излишних мудрствований, что теперь они растают, как туман под лучами солнца. Но дневному светилу уже не хватало сил пробиться сквозь толщу облаков, и дождь все шел и шел, отвратительный, однообразный дождь. Дурная погода всегда скверно влияла на его настроение. Костя в таких случаях посмеивался, говорил, что плохая погода гораздо лучше хорошей, ибо оставляет надежду. После нее всегда бывает тепло и ясно, а на смену хорошей так или иначе приходят холода и дожди. Но сейчас казалось, что этому не будет конца. Невольно возникало чувство, будто померкли все краски земли. Остался один-единственный серый цвет — цвет безысходности и отчаяния.

9

Сменялись дни и недели. Шли затяжные дожди, грело солнце, случались ветры, грозившие сдуть их с перевала. Иногда, подобно отдаленному грому, докатывалась артиллерийская канонада или, может быть, отголоски жестокой бомбежки.

По ночам гневно ревели олени.

Мороз все чаще серебрил склоны. Днем южная сторона успевала оттаять и даже просохнуть, а на север от седловины снег уже не сходил, и странно смотрелись на нем вечнозеленые листья рододендронов.

Конев так и не вернулся, словно в воду канул. Тогда еще, на другой день после ухода Киселева и его товарищей, у ребят впервые произошел довольно резкий разговор. Обычно молчаливый Силаев стал упрекать Другова за то, что тот помешал ему стрелять в беглеца.

— Вернется он рано или поздно,— настаивал Кирилл.— Он просто в цейтнот попал, как говорят шахматисты. Натворил глупостей...

— А как не вернется? — допытывался Федя.

— Ну нельзя же так, никому не верить!

— Федя прав в одном, понимаешь,— вмешался Костя.— Слишком дорогой ценой приходится платить за такое доверие.

— Да поймите же вы,— злился Кирилл,— нет такой платы, которая была бы велика за веру в человека.

— Когда не из своего кармана платишь,— заметил Федя.

— Я не говорю, что его подослали специально, да? — продолжал Костя.— Ну, допустим все-таки, дорогой, что этот Конев пойдет сдаваться. Положение у него пиковое. С пустыми руками к фрицам идти рискованно, как еще встретят. Надо что-то с собой принести, какие-то сведенья, что ли.

— А какие он может принести сведенья? — усмехнулся Кирилл.— Что семьдесят один патрон в автоматный диск влазит?

— Зачем смеешься? Он знает, сколько человек в заслоне,— возразил Костя,— где расположен блиндаж, какое у нас оружие.

— Ты даже подсказал ему, где стоят мины,— добавил Федя.—Теперь в случае чего нас, как перепелов, пощелкают...

Кирилл обиделся, вспылил и целый день ни с кем не разговаривал. Первым пошел на мировую Федя. Он просто не мог жить спокойно, когда кто-нибудь из товарищей на него дулся.

Но немцы больше не тревожили бойцов заслона. То ли Правая Эки-Дара вообще не входила в их расчеты, то ли, не имея до сих пор данных о количестве ее защитников, они не решались зря посылать под пули своих солдат, тем более что в планах фашистского командования ей не могла отводиться сколько-нибудь заметная роль.

Острота впечатлений от первой встречи с альпийскими стрелками уже несколько притупилась, и все же эта единственная вылазка немецких разведчиков кое-чему научила ребят. К тому же мысли о Коневе держали их в постоянном напряжении. Никто из бойцов теперь не помышлял о прогулках по северному склону, а Шония уже не раздевался перед сном до нижнего белья. Да и по ночам, когда не грела печь, блиндаж быстро промерзал и на бревенчатых стенах к утру оседал иней.

Дрова они заготавливали по очереди у себя в тылу. Складывали метровые швырки у самой тропы на опушке пихтарника.

Первый раз после посещения перевала политруком Ушаковым старшина пришел на десятый день. Он подбросил на вьюках часть дров, оставленных возле тропы. С ним был помощник начальника штаба бравый капитан Шелест в сопровождении трех автоматчиков. Пока те спускались вторым заходом за оставшимися дровами, ПНШ осмотрел в бинокль окрестности, расспросил, откуда пришли немцы и как себя вели, сделал кое-какие пометки на своей карте и, уже засовывая ее в планшетку, дал несколько распоряжений по поводу маскировки. Ребят не покидало чувство, будто он не сказал чего-то главного, все тянул, откладывая разговор под занавес.

Политрук сдержал обещание: дровами они теперь были обеспечены надолго. Но с продовольствием стало куда хуже. В этот раз им привезли одни сухари да манку. Значит, придется сокращать и без того скудный рацион.

— Нормально, вам тут не кирпичи таскать,— небрежно заметил ПНШ.— И так живете, как на курорте. Появись тушенка, все равно в первую очередь отдали б разведчикам. Это они день и ночь на брюхе ползают.

Капитан осмотрел позиции, поинтересовался, где расставлены противопехотные мины, и проверил состояние оружия. По всему было видно, что придраться ему не к чему.

— Ну, а теперь поговорим по-серьезному,— сказал он, наконец, устраиваясь на обломке скалы.— Сержант Шония!

Костя молча вскинул руку к виску.

— Скажите, с какой целью, по-вашему, я инструктировал группу перед выходом на перевал?

— Чтобы группа выполняла инструкции,— дернул плечом Костя.

— Тем не менее инструкций вы не выполнили. Вы не обезоружили людей, которые пришли к вам из расположения противника, дезертира упустили. Разгильдяи вы.

— У них документы были...

— Документы! — воскликнул капитан и выругался.— Документы могли оказаться липой. Вы никогда не отличили бы фальшивки от подлинного удостоверения. Фрицы на этот счет мастера. Такую тонкость могут установить только в особом отделе.

— Товарищ капитан,— не удержался Другов,— но мы же глаза их видели, там все написано...

Капитан усмехнулся и покачал головой:

— Только теперь вижу, как несерьезно подошли мы к отбору людей на такой ответственный участок.

Глаза — это лирика! — почти крикнул он.— Это все те же ваши Ромео и Джульетта. Помните? Если бы мы могли читать по глазам, незачем было бы держать следователей... Этих людей вы должны были обезоружить и арестовать до выяснения личности. Тогда бы и Конев этот не ушел.

Федя топтался, мучился, никак не удавалось высказаться. Даже капитан, заметив это, примолк выжидательно.

— Вы тогда говорили,— начал Федя, краснея,— что вроде можно поступать по собственному усмотрению... Когда в особых случаях...

— Особого случая не было! — резко оборвал его ПНШ.— Вы понимаете, что я имею право отдать вас под суд военного трибунала? С вас, сержант, как пить дать, посрывают знаки различия и направят в штрафную. И это было бы только справедливо.— Он одернул шинель и поправил на плечах ремни.— Но я воздержусь на первый раз, возьму на себя такую ответственность. Может быть, вы когда-нибудь поймете, что такое особый случай...

После обеда Остапчук, капитан Шелест и сопровождавшие его автоматчики ушли, а ребята остались на перевале не в лучшем расположении духа.

— Я ведь говорил тогда,— упрекнул сержанта Федя,— не послушались.

— Помолчал бы ты, дорогой,— огрызнулся Костя.— Клянусь, и без тебя тошно.

— Я ж не капитану,— стал оправдываться Силаев,— я ж тебе говорю...

Весь вечер Костя размышлял над словами помощника начальника штаба о так называемом особом случае. И что это за обстоятельства, когда им предоставлялось право поступать по своему усмотрению? Капитан этого так и не объяснил. Но случай такой, как часто бывает в подобной ситуации, не заставил себя ждать. Дня через три со стороны северного склона на перевал пришли еще трое. И нельзя было их ни арестовать, ни обезоружить...

На припорошенной снегом тропе Другов первым заметил совсем необычную процессию. Впереди шла, судя по всему, немолодая женщина с двумя связанными мешками, перекинутыми через плечо, и вела на веревке обыкновенную козу. Это было потрясающе! За ней шла вторая, закутанная в черную шаль. Она прижимала к себе большой сверток. А следом за ними тащился красноармеец с рукой на перевязи и с винтовкой, ствол которой выглядывал у него из-за спины.

Первой женщине было за пятьдесят. Вблизи у нее оказалось худое коричневое лицо и жилистые руки. Она сразу же по-хозяйски привязала козу к жерди, торчавшей из поленницы.

— Тутошня я, с верхнего поселка,— не дожидаясь расспросов, стала объяснять она.— Тетку Анисью спроси, люба собака знаить. Мужик мой до того, как в ентот строительный батальон забрали, в лесхозе работал. Детей трое было. Старшой на фронт ушел, а младшенький...— Она коротко всхлипнула и поспешно вытерла нос кончиком платка.— Младшенького две недели тому повесили душегубы. Не знаю, за что дажить. Как немец-то пришел в поселок, дома он, считай, не ночевал. Может, и точно нашкодил чего анчихристам. Ктой-то, говорять, часового у околицы зарезал и автомат с него снял. А посля с того автомату мацеклистов каких-то посек на лесной дороге. Почуяло сердце, не ждать добра. Не о себе забота, я свое отгорбила. А вот Нюська, дочка моя,— показала она подбородком на молодую женщину, закутанную в шаль,— мужика в армию проводила. Мужик-то партейный. Одна осталась, а у ей рабеночек четвертый месяц. Не житье нам под немцем. Они все тама партизанов ищуть. Вот и надумали мы до своих пробиваться. Брат у меня в Веселом живеть. Тропы тутошни знаю. Прежде-то, бывало, не раз ходили до самого Сухума. У нас тута недалече до войны улики стояли и сенокос был добрый.

— Ну, а как же немцы вас пропустили? — спросил Костя.

— Да кто ж их спрашивать станеть. Первый день верст десять не прошли вверх по Зеленчуку, встренули. У моста ферма. Стоять там, мост, видать, стерегуть. Пришлось вертаться на перекат, бродом переходить. Добро хочь вода невысока. В долине Иркиса друга ферма. Немца там нету. Три дня сидели, погоды ждали. Лепешки кукурузны были — кончились, беда прямо. А тут приходить один наш солдатик. Не ентот, другой. Поспрошал, что да как, сходил кудай-то в лес, вертается. Принес добрый человек цельный бок свинячий.

— А что за солдат? — спросил Кирилл.— Красноармеец, что ли?

— Да знаю я его, как облупленного,— с досадой заметил раненый.— Дезертир! По лесам скрывается. К своим возвращаться не хочет. Ходит с трофейным автоматом, скотину брошенную стреляет.

Ребеночек запищал, и молодуха стала его покачивать, легонько подбрасывая на руках. Глаза у Нюси были растерянные. Она все молчала, до сих пор, очевидно, не верила, что все страхи и мучения позади. Кирилл предложил ей спуститься в блиндаж, где еще не остыла печь.

— А козу зачем с собой тащите? — спросил он у тетки Анисьи.

Эта коза волновала его больше всего. Она внесла с собой в их строгий военный быт неожиданный уют домашнего очага.

— Как же без козы-то? — удивилась женщина.— Кормилица она наша. Рази ее бросишь. У Нюськи-то с тоски молоко пропало, а рабеночка кормить надоть. Сами-то мы и ягоду пожуем, и грибы, и орешки, а нужда заставить, и желуди. Только хлопот с ими: вымачивай да толки... Уже в долине Иркиса ентого ранетого встренули. Смекнул, голубь, что одни мы, сам из лесу вышел...

— Откуда? Кто такой? — спросил Костя.

Левая рука у красноармейца была вся в бинтах, через которые проступила черными пятнами запекшаяся кровь. Он прижимал руку к груди и нянчил ее с неменьшей бережностью, чем Нюся своего младенца. Боец назвал номер полка и свою фамилию:

— Рюмкин я, Рюмкин. От части отстал. Раненый вот. Две недели по лесам плутал. Дороги не знаю. В горах первый раз. Сухари кончились. А тут того плосконосого встретил. Свинью он в лесу подстрелил. Домашняя свинья, одичала только. Вот и кормился возле него первое время, пока не раскусил, что он за тип. Вижу, не компания мне. А тут еще рука сильно беспокоила, пухнуть стала.

— А фамилию этого дезертира знаешь? — спросил Костя.

— Фамилию не спрашивал, а зовут Володькой.

Ребята переглянулись.

— Героя из себя корчит,— продолжал Рюмкин.— Это, говорит, они Северный Кавказ сдали. Я его не сдавал. Мы еще, говорит, повоюем. Видели мы таких вояк. Подфартило мне, женщин встретил. Обещались до своих вывести. Бабка перевязала, травки какой-то приложила на рану, вроде полегчало малость. Мне б только до госпиталя добраться. А то загниет — оттяпают по самый локоток. У врачей это быстро делается...

Раненый спешил, словно боялся, что ему не дадут до конца высказаться. Возраст бойца опреде-

лить было трудно. Он сильно зарос, и лицо его выглядело таким же помятым, как болтавшаяся на нем шинель.

— А где еще немцев встречали? — спросил Костя.— План нарисовать сможешь?

— Недалече,— вмешалась тетка Анисья,— верстах в пятнадцати отсель. Где ента речка ваша в Пшишонок впадаеть. Барак тама был. Так немцы на месте того старого барака землянки поставили. Живуть себе, на гармошках играють. Мы их ночью правым берегом обошли. Сперва хотели на Наур податься, но после смекнули: тропа-то тама бита, хоть яечечко катай, значить, и немца того, что вшей в лиху годину. Мы-то полбеды, козу, мол, на барахлишко менять пришли. Одно слово — бабы. А солдатику враз крышка. Оттого и подались на Вислый. Дорогу енту одни местны знають. Можеть, мы и раньше б сюды вышли, да на бурелом набрели, насилу выбрались. Добро хочь немцы, что ли, до половины завал расчистили да порастащили...

На пеленки для Нюсиного сына Кирилл пожертвовал свои новые портянки. Согревшись возле печки, молодая женщина сняла наконец свою траурную шаль. Волосы у нее были расчесаны гладко, на прямой пробор, и заплетены в короткую толстую косицу.

Костя вскипятил воды. Он отдал весь небольшой запас марганцовки, который хранился в аптечке, индивидуальный пакет и чистое полотенце, чтобы тетка Анисья могла сделать Рюмкину перевязку.

— А ведь он про Конева говорил,— сказал Кирилл.

— Я это, дорогой, сразу понял,— улыбнулся Костя.

— Ты скажи, Робин Гуд выискался, а?

— Все равно,— вставил Федя,— он человек темный.

— Я думаю, винтовку у этого Рюмкина отбирать нет смысла,— сказал Костя.— Шпиона с простреленной рукой немцы в наш тыл не зашлют.

— О чем речь,— согласился Кирилл.

— Скажу по секрету,— добавил Костя,— я давно, еще с первых дней, зажал немного яичного порошка. Ну, две-три горсти, да, как неприкосновенный запас. Женщины все-таки, ребенок, боец раненый — наш товарищ! Отдадим?

— Они, однако, через несколько часов в роту придут,— с присущей ему практичностью заметил Федя,— а нам службу нести.

— Раненый, понимаешь? — повысил голос сержант.

— Ты что, чурбан бесчувственный? — спросил Кирилл.

— Не чурбан я и не жадный вовсе,— ответил Федя.— Только морда его мне не нравится. Глаза прячет.

— Вот шарахнут тебя, посмотрим, в какое место сам глаза втянешь,— разозлился Другов.—Помнишь слова твоего капитана? Глаза — это лирика. Я одно вижу — худо человеку.

— Понимаешь, дорогой,— уже спокойно обратился к Феде сержант,— нам так нельзя, да: лебедь — в облака, щука — в воду. Мы как альпинисты теперь, все в одной связке...

Боец стонал, корчился от боли, пока женщина отмачивала, отдирала ему присохшие старые бинты. Рука у него распухла и покраснела. Ему действительно нужно было скорей добраться до санбата. Закончив перевязку, тетка Анисья накормила Рюмкина и дала ему чаю. Потом посмотрела на Федю, на Кирилла и прерывисто вздохнула:

— О-хо-хох, господи, ну каки ж с вас вояки? — Глаза ее вдруг повлажнели, и она провела по ним жесткой ладонью.— Дети, совсем дети! Вам бы в казаки-разбойники играть.

— Что вы, тетушка Анисья,— серьезно возразил Другов.— Мы те самые три кита, на которых мир держится...

Женщины поели сами, перепеленали, напоили из рожка молоком ребенка и снова тронулись в путь. Коза, как собачонка, привычно плелась за ними на поводке. Эти женщины внушали ребятам какое-то сложное чувство. И трудно сказать, чего тут было больше: удивления, жалости или восхищения...

...На этот раз приезда старшины ждали не без трепета. Может, и теперь ПНШ найдет к чему придраться? Но все обошлось как будто. Капитан не подавал голоса. Остапчук привез письма Шонии и Силаеву. Только Другов ничего не получил ни от Галки, ни от тети Оли. О том, что с ними могло одновременно что-то случиться, он и не помышлял, но скверная работа почты говорила о том крайнем напряжении, которое испытывал транспорт, и о долгом кружном пути, что предстояло проделать письму от Москвы до Кавказа.

Зато им доставили зимнее обмундирование: ватные штаны и телогрейки, еще хранившие запах интендантских складов, белые, похожие на комбинезоны, маскхалаты с капюшонами и матерчатыми чехлами для рукавиц, просторные «черчиллевские» ботинки с круглыми загнутыми вверх носами и теплые байковые портянки. Пилотки ребятам заменили на меховые ушанки, хотя и «б/у», но тем не менее вполне приличные с виду и главное — теплые. Для часового привезли овчинный тулуп до земли, с громадным воротником и — чудо из чудес! — валенки. Растоптанные, прошитые толстой дратвой. И где их только раздобыл Остапчук на этом благословенном юге?

Из специального снаряжения они получили старенький бинокль, метров пятнадцать страховочной веревки и, наконец, самое главное — фляжку чистейшего медицинского спирта.

— И закуска в мэнэ е,— похвалился Остапчук, доставая завернутый в бумагу изрядный шмат солонины.— Вымочуваты трэба...

Но ни долгожданные письма, ни теплое обмундирование не принесли ожидаемой радости. Под конец старшина сообщил печальную весть: погиб старший лейтенант Истру. Около сотни автоматчиков прорвалось по обходным тропам на южный склон со стороны урочища Загана. Возможно, они штурмовали отвесную скальную стену в районе ледника Грымза с намерением зайти в тыл одной из наших частей. Делая изрядный крюк, немецкие егеря натолкнулись на сторожевую заставу старшего лейтенанта и, не растерявшись, с ходу атаковали ее. Бой был тяжелым и неравным. Наши потеряли шесть человек убитыми и больше десятка ранеными. В числе раненых оказались ординарец командира роты Повод и красноармеец Азат Бакиров, Спасибо-Рахмат, как прозвали его ребята. Разрывная пуля раздробила ему плечо. Но понесенные потери были не напрасны — отряд немецких автоматчиков вынужден был отступить с большими потерями...

Гибель старшего лейтенанта подействовала на ребят удручающе. Стараясь их приободрить, старшина говорил о том, что командование ротой принял на себя командир первого взвода лейтенант Кравец — отчаянная голова, что он, Остапчук, нюхом чует: выдыхаются фрицы.

Старшина и сам тяжело переживал гибель командира. Он все время с обидой и сожалением думал о том, что не уберег его, что, провоевав бок о бок со старшим лейтенантом около полугода и видя от него только доброе, в сущности, ничего не знал об этом человеке. Что он мог рассказать о нем? Что

звали его Валентином Христофоровичем, что ему недавно исполнилось двадцать восемь, что он молдаванин, родом из Одессы, что была у него жена и дочь Юлька, за которых он изболелся душой? Но это всего лишь мертвая анкетная справка. А ведь за ней еще совсем недавно стоял живой человек, такой непростой и такой уязвимый. И мысли у него были свои, и надежды, и планы. А теперь ничего нет. Только холмик сырой земли у подножия старого бука-великана в темном лесу, где даже весной не поют птицы...

10

Погода в тот день выдалась пасмурной, но мороз был не слишком сильным. Дул устойчивый юго-западный ветер. С утра перевал притрусило снежком, и поэтому поверх телогреек и ватных штанов Костя приказал надеть белые маскхалаты.

Настроение у всех было неважным. Все четыре раза старшина приходил на перевал точно в назначенный день без малейшего опоздания. Его «контора» продолжала работать бесперебойно и четко. Он любил повторять: если и старшины начнут подводить, значит, дело гиблое... Но вот уже третий день, как его нет. Продукты закончились. Осталось немного манной крупы да по две горсти сухарей на брата. Что же все-таки могло случиться на заставе? Почему подвел на сей раз обычно пунктуальный в этих вопросах Остапчук?

Федя Силаев заступил на пост сразу после обеда. Он до сих пор не мог приноровиться к новым ватным штанам. Они были великоваты ему и болтались мешком где-то у самых колен, хотя он и старался потуже затягиваться ремешком. Эта теплая одежда делала Федю еще более неповоротливым, подчеркивая его сходство с неуклюжим медвежонком.

Видимость была превосходной, но от постоянного напряжения, от удручающей белизны снега у Феди начинало поламывать в висках, и он нарочно выискивал темные точки в однообразном пейзаже — куст рододендрона, обнаженный валун, «сколок», мазком туши чернеющий на далекой вершине,— и это давало его глазам хоть какой-то непродолжительный отдых.

Костя и Кирилл находились в блиндаже, когда до них долетел его голос:

— Эй вы, однако идут!

Шония отдернул плащ-палатку и поглядел на осточертевший склон. Он ничего не увидел и вынужден был подняться по ступенькам. Федя сидел, прилепившись к скале, но смотрел он вовсе не на южный склон, а куда-то на север.

— Кто — идут? — раздраженно спросил сержант.— Может быть, немцы идут, да?

— Ну-у, а я чего говорю...

Всего несколько секунд потребовалось на то, чтобы все заняли места на огневом рубеже.

Костя наблюдал за противником в бинокль. Цепочка солдат, одетых, как и они, в белые маскировочные халаты, общей численностью до взвода, двигалась в сторону перевала. Их можно было легко принять за своих, если бы не характерная форма «шмайсеров» с откидными металлическими прикладами, болтавшихся на длинных ремнях где-то возле самого пояса. Если же быть до конца точным, то маскхалаты егерей правильнее было бы назвать маскировочными костюмами. Отдельно куртка с капюшоном, отдельно брюки, стянутые у щиколоток ремешками. И тяжелые горные ботинки.

— Не многовато ли, по десятку на каждого? — проговорил Другов, тщетно пытаясь унять внутреннюю дрожь.

— Мы не одни, дорогой, за нами Кавказ. Камни помогут! — патетически воскликнул Шония и тут же скомандовал: — Силаев, ракету!

— У меня спичек нет,— с возмутительным спокойствием ответил Федя, устанавливая нужный прицел.

— А-а, черт! — Костя вскочил и в несколько прыжков достиг блиндажа.

Через мгновение он уже снова был наверху с тремя картонными шарами, которые так бережно прижимал к груди, словно это были не ракеты, а хрупкие елочные игрушки. Костя быстро свернул цигарку, не переставая поглядывать в сторону неприятеля, и прикурил ее. Сунув кисет и зажигалку под камень, он присел возле врытой в щебень трубы.

Зашипел, забрызгал бенгальским огнем серый мышиный хвостик. Отсчитывая про себя секунды, Костя осторожно опустил ракету в трубу и тут же, не дожидаясь выстрела, стал запаливать от папироски очередной фитиль. Самовар Радзиевского грохнул с такой силой, что Костя едва не потерял равновесие. Его толкнуло в лицо волной горячего воздуха. Казалось, что где-то возле самого уха лопнула толстая басовая струна. Он даже оглох на какое-то время. Спохватившись, Костя опустил в трубу второй шар, но на этот раз отскочил подальше и даже на всякий случай приоткрыл рот. Говорили, что так поступает орудийная прислуга, чтобы сберечь барабанные перепонки.

Оставляя за собой рваный огненный след, врезалось в небо первое ядро. На большой высоте оно сверкнуло искровым разрядом и лопнуло, разметав веер малиновых ракет. Но этого звука никто не услышал, потому что самовар громыхнул вторично, и следующая трасса ввинтилась в нависающие над перевалом облака. А Костя уже поджигал третий фитиль...

Когда лопнуло первое ядро, Федя, смотревший в этот момент через оптический прицел, ясно увидел, как резко тормознула цепочка немцев, как застыли они на месте, позадирав вверх головы. Потом один из них подал знак, и отряд тут же распался надвое. Меньшая часть повернула влево и стала подниматься по склону к отвесному скальному гребню, охватившему обручем верхнюю кромку ледникового цирка, а большая, дробясь по два-три человека, развернулась широким фронтом и стала медленно приближаться к перевалу. Немцы шли, прикрывая лица от встречного ветра, который нес мелкую снежную пыль.

Только четверо солдат остались у дальних валунов. Они посбрасывали на землю что-то вроде плоских ранцев, стали утрамбовывать сапогами снег среди камней.

Теперь всю эту картину могли наблюдать и остальные. Костя тут же сообразил, что немцы притащили с собой ротные минометы и лотки с минами. Сразу стал ясен и нехитрый замысел противника. Ведь если немцам удастся подняться к самым обрывам и продвинуться вдоль них хотя бы на двести метров, они наверняка окажутся в мертвой зоне, где их уже практически не достанет огонь защитников перевала. И тогда им ничто не помешает подойти к седловине вплотную по верхнему уступу.

— Другов,— крикнул он,— как только фрицы поднимутся к скалам, открывай огонь! На темном фоне, дорогой, должны хорошо смотреться эти роскошные маскхалаты. Бей короткими очередями, да не давай им приблизиться.

Он вложил медные капсюли-детонаторы в ручные гранаты.

— Силаев, тебе видно тех четверых у валунов?

— Ну-у...

— Тогда работай! До цели семьсот метров. И чтоб им, понимаешь, головы не поднять возле своих минометов.

— А эти? — спросил Федя, показывая глазами на медленно приближающуюся цепь.

— Не твоя забота, дорогой. Пусть они тебя не смущают.

Кирилл слышал, как шелестят по матерчатому капюшону сухие снежинки. Ветер дул ему в спину и не мешал целиться.

— Ну-ну, ветрище, дазай,— шептали его губы,— плюй им, сволочам, в шары!

Сейчас важно было подавить волнение, справиться с дрожью, которая помимо его воли волнами прокатывалась по телу. Но столь же важно было не упустить момент и не дать немцам приблизиться.

Если на заставе заметили сигнал, к вечеру может подоспеть подкрепление. Втроем перевала им не удержать, нужно выиграть эти несколько часов. А если сигнала не заметили, что тогда? Кирилл знал, что не побежит, не бросит товарищей, и от этого становилось еще страшнее.

Для Феди же самым удивительным было то, что противник не сделал еще ни одного выстрела. До сих пор война представлялась ему совсем иначе. А тут все напоминало немое кино. И шелест снега в складках маскхалата был удивительно похож на стрекотание проектора в клубной кинобудке. Даже жаль было нарушать эту тишину. Но в тот момент, когда прозвучал его первый выстрел, загрохотал и ручной пулемет Кирилла.

Федя промахнулся и сплюнул с досады. Видимо, тут в горах действовали свои особые законы баллистики, и к ним надо было приноразливаться. Однако пуля его, по всей вероятности, попавшая в камень, заставила немцев пригнуться. Теперь они уже не выглядели такими самонадеянными и спокойными. В их движениях появилась нервозность и поспешность, а это, по мнению Феди, было для начала не так уж мало.

Пулемет Кирилла заставил группу немцев залечь у подножия скал. Теперь на снегу они были менее заметны, и переводить патроны не имело смысла. Все равно поднимутся рано или поздно, не век же им лежать.

Костя выжидал. Он присел за каменной плитой, поглядывая на приближающуюся цепь через свою «бойницу». Перевернув прицельную колодочку для стрельбы с близкой дистанции, он поднял автомат и дал первую очередь.

Один из немцев широко взмахнул руками, ноги его подкосились, и он упал навзничь. Остальные залегли в снегу и открыли огонь одновременно и по «бойнице» и по площадке, где стоял пулемет Кирилла. Пули взвизгивали, рикошетом отлетая от скал. Но Кости на прежнем месте уже не было. Пригибаясь за скалами, он бежал по широкой дуге к тому месту, где под обрывом притаилось около десятка егерей, остановленных огнем Кирилла.

Костя улучил момент, выглянул из-за гребня. Немцы лежали внизу, совсем близко. Он прикинул на глаз расстояние. До них было не больше сорока метров. Ближе не подберешься. Костя выдернул из-за пояса ручные гранаты. Они были холодные, темно-зеленые, одетые в ребристые стальные чехлы. Оттянув рукоятку и поставив первую гранату на боевой взвод, он широко размахнулся и метнул ее вниз. Следом полетела вторая граната. Он не видел, как они рванули. Опасаясь осколков, Костя присел за каменной плитой. Он видел только, как семь человек побежали, скользя и падая, вниз по склону, и для острастки послал им вдогонку короткую очередь. И тут же возле него запели, зацокали по камням пули.

Несколько автоматчиков с левого фланга залегшей цепи открыли по нему суматошный огонь. Но им сразу же ответил пулемет Другова. Дольше оставаться здесь Шонии не было смысла. А то, что по нему стреляли, так это просто отлично. Надо почаще менять позиции. Пусть думают, что на перевале их больше, чем на самом деле.

Шонию подхватила и понесла волна охватившего его душевного подъема. Это был тот самый азарт боя, во власти которого человек способен совершать не только безумные опрометчивые поступки, но и великие подвиги. Костя был горд. Нет, не зря его поставили старшим в заслоне. Пусть капитан говорит все, что угодно. Враг уже потерял несколько человек, а у него все целы и невредимы. Трое почти против целого взвода! И они держат оборону, и у них получается. Значит, можно их все-таки бить, гадов!

— Ну, как твои четверо? — спросил он Силаева, повалившись возле него в снег.

— Их уже трое,— не поднимая головы, ответил Федя.

— Азбука войны, дорогой. Теряет тот, кто прет на рога, выигрывает тот, кто держит оборону. Честно говоря, я не хотел бы сейчас быть на их месте. Лезть на такие скалы, под пулеметный огонь... И снег, понимаешь, в морду.

В воздухе с легким подвыванием одна за другой прошелестели две мины. Они разорвались на обратном скате. Хлопок был негромким.

— У нас, понимаешь, пробка в забродившем вине громче стреляет,— пренебрежительно отмахнулся Костя.— Мина, клянусь, с чекушку величиной... А ты работай, дорогой, работай! — И тут же, вспомнив о чем-то, он кинулся к блиндажу.

На правом фланге цепи немцы зашевелились вновь. Трое сделали короткие броски и снова залегли. Кириллу пришлось дать по ним еще одну очередь. Зеленоватая светящаяся трасса прочертила в снегу дымный след. Крайний немец как-то странно пополз в сторону, упираясь ладонями в снег и волоча за собой ноги.

«Кажется, одного зацепил,— подумал Кирилл.— Лиха беда начало». И вдруг он впервые по-настоящему поверил, что они смогут держать перезал, пока есть патроны.

Опять прошелестели мины. Теперь они разорвались внизу у первого скального порога.

В эту минуту на седловине появился сержант. В одной руке он держал лом, а в другой красный шерстяной шарф. Жестом, более картинным, чем позволяла обстановка, Костя с размаху всадил лом в кучу смерзшегося щебня и ловко привязал к нему шарф за длинные кисти. Поток воздуха тут же подхватил его, и он взлетел, забился на ветру, как адмиральский вымпел.

— Хорош! — воскликнул Костя, довольный своей затеей.

— Зачем это? — повернулся к нему Федя.— Чтоб лучше видели, куда бить?

— Пускай! — крикнул Кирилл.— Это пролетарский стяг! Это наша последняя баррикада!

Федя безнадежно махнул рукой и отвернулся.

— Немец, понимаешь, от этого цвета сатанеет, как бык,— пояснил Костя с пафосом.

Кирилл привстал на локтях.

— У меня второй диск пустой!

— Работай, Федя, поспеши, дорогой,— подгонял Костя.— Диски я сам набью.

Он вытянул из блиндажа начатую цинковую коробку с патронами и побежал с нею к брустверу, за которым лежал Кирилл. Внезапно острая боль обожг-

ла ему левую ногу. Он швырнул цинк к пулемету и потрогал бедро. Боль притихла, но нога словно бы одеревенела. Сержант удивленно посмотрел на руку: пальцы были испачканы кровью.

— Они, понимаешь, не так уж плохо стреляют, эти гады,— сказал он с нарочитым спокойствием.

— Ты что, ранен? — приподнялся Кирилл, заметив на пальцах сержанта кровь.

— Ерунда, в мякоть, наверное...

Кирилл не успел ничего сказать, так как вражеская цепь зашевелилась и сделала почти одновременный рывок вперед. Пулемет его рявкнул и смолк. На морозе остывающий вороненый кожух быстро покрывался прозрачным налетом с серебристо-дымчатыми узорами.

— Сам перевяжешь? — отрываясь от приклада, спросил Кирилл.

— Ерунда,— повторил Костя,— все сделаю сам. Вот только набью патроны. Пулемет не должен молчать.

— Послушай, дай-ка бинокль,— насторожился Кирилл.— Похоже, не к нам подмога подоспела, а к ним.—Он выхватил у сержанта бинокль, поднес к глазам, но тут же добавил с облегчением: — Слава богу, пронесло! Только один. С автоматом. Скорее всего связной...

Стоя на коленях, Шония протянул руку, чтобы передать Другову заряженный диск, но тут возле самого блиндажа взорвалась мина. Засвистели осколки. Кирилл прижал к камням голову. На месте взрыва осталась мелкая воронка, по краям которой дымился порыжевший снег.

— Такого уговора не было,— сказал сержант.— А ну-ка закати им хорошую порцию, дорогой.— Он сорвал с груди ППШ, вскочил и тут же почувствовал, как горячая кровь струйкой побежала по ноге.

Однако Кирилл не стрелял. Он снова с интересом наблюдал в бинокль за странным немцем в перетянутой ремнем маскировочной куртке и таких же белых штанах. Связной уже не шел, он бежал к своим, на ходу стягивая через голову ремень автомата. Занятые делом, минометчики не обращали на него внимания. Костя поднял автомат и дал по залегшей цепи прицельную очередь. Одну, вторую...

Прямо перед его глазами блеснул тусклый желтый огонь. Что-то хлестануло его, как щебнем. Костя отпрянул назад. Он услышал звон в ушах и почувствовал отвратительную, подступавшую к горлу тошноту. Тело сделалось ватным, руки больше не слушались его. «Не везет,— успел подумать он,— второй раз за день...»

Кирилл с недоумением смотрел на Шонию, выронившего автомат, который тупо стукнулся прикладом о мерзлую землю. Костя медленно сгибался, словно переламывался пополам, держась за живот обеими руками. И вдруг завалился на бок, поджимая колени к самому подбородку. Правая нога его дергалась, ерзала по снегу, будто искала и не могла найти точку опоры.

— Федя! — закричал Кирилл.— Сержант ранен! Быстро перевяжи сержанта!

Пока Силаев занимался Костей, Кирилл еще раз поднял бинокль и не поверил своим глазам. Связной, не добежав нескольких шагов до минометчиков, вдруг остановился, вскинул автомат и открыл по ним огонь. Он расстреливал их почти в упор. Со всех сторон к месту происшествия бежали егеря, строча на ходу из своих «шмайсеров».

— У них, кажется, один сошел с ума! — крикнул он Феде.— По своим бьет!

Далеко внизу взлетела в небо зеленая ракета. Достигнув вершины, она как бы зависла на короткое время и потом начала медленно падать, сгорая на лету. Немцы уже отходили, кто ползком, кто перебежками, подбирая на ходу раненых. На минометной позиции была настоящая свалка...

К своему стыду Кирилл всегда боялся крови. Именно поэтому он и попросил Силаева перевязать сержанта. Федя перевернул Шонию на спину, извлек из ножен штык и с треском распорол на животе маскхалат. Расстегнул Костин ватник, поднял гимнастерку, держа в зубах индивидуальный пакет.

— Ну, что с ним, крепко? — спросил Кирилл и снова почувствовал, как его начинает трясти злой малярийный озноб.

Федя выронил изо рта пакет и вытащил из-под гимнастерки руки. По самые запястья они были в темной густой крови, и от них шел пар, срываемый ветром.

— Однако, помер сержант,— растерянно сказал Федя, и курносый нос его сморщился еще больше.

«Глупости, этого не может быть! — хотелось крикнуть Кириллу, и все-таки что-то оборвалось в нем с болью.— Костя просто потерял сознание, сейчас он придет в себя, сейчас...»

Кирилл опустился на корточки возле сержанта. Красивое лицо Кости было бледным, как гипсовая маска, и резче обычного выделялись на нем темные бархатные усы с капельками от растаявшего снега. Кирилл нагнулся ниже, чувствуя, как что-то сжимается в его горле, и увидел совсем близко приоткрытые желтые глаза с темными кругами. На них падали острые кристаллики снежинок. И только тут он отчетливо осознал, что все кончено...

С детства Кирилл панически боялся мертвых и бежал от похорон за два квартала, но сейчас ему почему-то совсем не было страшно. Он прикрыл сержанту тяжелые веки и встал, опираясь рукой о снег. Постоял молча, подобрал Костин автомат и побрел к блиндажу на непослушных ногах мимо ржавой воронки, похожей в сумерках на диковинный цветок с острыми колючими лепестками.

— Вот,— сказал Федя, подавая Кириллу кисет, сложенную гармошкой, чуть подмокшую на сгибах газету и зажигалку.— Это он оставил под камнем, когда возился с ракетами.

Кирилл сел, оторвал сухой кусочек газеты и стал неумело крутить цигарку. Руки его дрожали.

— Ты забери у него часы в маленьком кармашке,— глухим незнакомым голосом попросил Кирилл.— Нам без часов паршиво будет.

«Так и не прислали подмогу,— подумал он почти без сожаления и упрека, точно речь шла о чем-то, не имеющем к нему никакого отношения.— А теперь уже все равно...»

— Тут одна цепочка,— донесся до него издалека голос Силаева.— Часы осколком разворотило.

Кирилл чиркнул зажигалкой, но ветер сбил пламя. Он нагнулся и, прикрываясь рукой, с трудом прикурил.

Неумело затягиваясь, Кирилл кашлял и, размазывая по щекам слезы, плакал втихомолку то ли от горького дыма, то ли от собственного бессилья.

11

Всю ночь, сменяя друг друга, они продежурили у каменной гряды. Сумасшедший немец, труп которого так и оставался лежать на минометной позиции, никак не выходил из головы.

Едва забрезжило морозное утро, Силаев и Кирилл положили твердое, негнущееся тело сержанта на трофейную плащ-палатку и оттащили под прикрытие скал. На слегка нахмуренном лице Кости с запавши-

ми глазами лежали голубые тени, а в густых ресницах и усах запутались нетающие снежинки.

Федя вытащил из кармана его гимнастерки документы, переложил в свой и накрыл сержанта полами плащ-палатки.

Потом, не сговариваясь, они стали обкладывать его камнями.

Но добывать их становилось все труднее, камни примерзли к скале, и Кириллу пришлось идти за лопатой.

Через час на этом месте уже вырос высокий щебенчатый холм. В основание могилы Федя воткнул шест. Он надел на него каску сержанта и проволокой прикрепил фанерку от макаронного ящика, на которой выжег раскаленным кончиком штыка: «Сержант Константин Шония. Старший в группе заслона».

Как положено, они дали прощальный залп из винтовки и автомата, а потом помянули Костю, выпив по сто граммов разведенного спирта из драгоценного НЗ. Доели последние сухари, но манку варить не стали.

Не было ни сахара, ни соли, да и есть им совсем не хотелось.

Спирт опалил внутренности и потек огнем по жилам, слегка ударяя в голову.

— А он нас в гости приглашал,— задумчиво проговорил Кирилл, дожевывая сухарь, и голос его дрогнул.

— Давай сговоримся и приедем к нему вместе, когда кончится война,— предложил Федя.— Не-е, не на море, а сюда, на Эки-Дару.

— Приедем,— согласился Кирилл.— В туманный день...

— А эта, из Хосты,— Федя вдруг улыбнулся с детским простосердечием,— приглашала, слышь?

— Слышу, не глухой,— ответил Кирилл и на всякий случай выглянул через амбразуру.— Потерпи, скоро заслон снимут, отведут на переформировку, тогда и съездишь.

— А отпустят?

— Думаю, отпустят. Кого ж отпускать?

— На море сейчас тепло,— вздохнул Федя.— Поди, купаются еще. Знаешь, я вон, когда прибыли, целый день по поселку толкался, а в море так ни разу и не скупнулся. Как оно там, в соленой-то воде?

— Нормально,— пожал плечами Кирилл.— Легче держаться, говорят. Вода плотнее...

— А знаешь, я, однако, схожу туда, к этому немцу,— неожиданно предложил Силаев.

— Ты что, контуженный? — уставился на него Кирилл.

— Не-е,— успокоил его Федя.— Надо сходить. Тут пять минут дела. Последишь в бинокль. В случае чего сигнал дашь — я вернусь мигом.

«А ведь он прав,— подумал Кирилл.— Если мы не выясним все до конца, потом никогда не простим себе этого».

Они понимали друг друга без лишних слов.

— Винтовку свою не бери,— сказал Кирилл,— возьми на всякий случай автомат...

Время тянулось мучительно долго.

Другов вглядывался до рези в глазах — не проглядеть бы чего. Но все вокруг как будто оставалось спокойным.

Федя вернулся примерно через четверть часа. Он был необычно сумрачен. Стянул с себя рукавицу и швырнул об землю:

— Так и знал, это он!

— Конев? — бледнея, спросил Кирилл, хотя и без того знал, о ком идет речь.

Федя ответил не сразу.

Он долго молчал, сосредоточенно ковыряя носком плотный снег.

— Ты как сказал тогда, я сразу на него подумал,— наконец проговорил он.

— Я тоже,— признался Кирилл.— Но потом решил, откуда у него маскировочный костюм мог взяться.

— Какой костюм! — воскликнул Федя.— Он навыворот оделся, понимаешь? На штаны и гимнастерку нижнее белье натянул и ремнем подпоясался. Похоже получилось, если издали. А вот куда шинель подевал, не знаю. Немцы из него решето сделали, места живого нет.

— Вот такие, брат, дела,— в раздумье проговорил Кирилл,— вот тебе и Конев...

— Жаль, однако, сержант не узнал правды.

— А ты хотел парня ухлопать. Ведь ухлопал бы?

— Тогда-то? Запросто,— честно признался Федя.

— Похоронить его надо как человека,— заметил Кирилл.

— Сейчас нельзя. Подождем до завтра. Если все будет тихо, похороним...

До полудня их никто не беспокоил, и они смогли спокойно дозарядить пулеметные и автоматные диски, набить запасные магазины для винтовки. Автоматных патронов было достаточно, а винтовочные кончались. Осталось три пулеметных диска, столько же магазинов для СВТ, да десятка полтора патронов Федя рассовал по карманам про запас. Каждый взял себе по две гранаты и еще штук шесть они разложили на нарах. Потом добавили камней в бруствер пулеметной точки и обложили сланцевыми плитками позицию, облюбованную Федей.

На этот раз немцы появились часа на два раньше, чем накануне. Они опять разделились на две группы, только меньшая повернула теперь не налево, а в противоположную сторону. Почти на том же месте расположились солдаты с минометами. Однако эти держались осторожнее вчерашних и старались пореже высовываться. Только неподалеку Кирилл увидел в бинокль двух стрелков с винтовками, залегших среди камней. Однообразие тактики, избранной неприятелем, начинало внушать ему подозрение и даже некоторое беспокойство. Не такие уж они дураки, чтобы нахально работать под копирку, повторяя собственные ошибки. Ведь это же отборные егерские части!

После гибели сержанта командование заслоном с молчаливого согласия Феди как-то само по себе перешло к Кириллу. И чувство возросшей ответственности сделало его строже и собраннее.

Завидев немцев, они выпустили две ракеты — третья не сработала, видимо, отсырел порох — и так же, не мешкая, как вчера, заняли свои позиции. Однако немцы не спешили атаковать. С почтительного расстояния они постреливали из винтовок, выпустили штук шесть мин, которые разорвались на безопасном расстоянии. Скорее всего после вчерашнего побоища к минометам приставили первых попавшихся. Им явно не хватало профессионального опыта.

Теперь, когда пули щелкали по скале или взрывали снег на седловине, Кирилл уже не прятал голову за каменный бруствер, не кланялся всякий раз, как это бывало прежде. Он пытался постичь логику, руководившую поступками неприятеля, и ничего не мог понять. Почему группа слева от него медлит и не повторяет вчерашних попыток достичь непростреливаемой зоны с другой стороны? Почему те немцы, что растянулись цепью напротив седловины и залегли среди валунов, ведут себя так пассивно? Зачем они тянут время, чего ждут? Его не покидало предчувствие, что все это неспроста и что-то непременно должно произойти.

Но вот, наконец, на правом фланге у немцев стало наблюдаться некоторое оживление. Солдаты в

маскировочных костюмах, белые на белом снегу, начали редкими перебежками продвигаться вперед к выступу ледника. Одновременно усилился огонь с фронта. Пули все чаще попадали в бруствер, выбивая из него каменную крошку.

— Федя! — крикнул Кирилл.— На тебе цепь, слышишь? Я отсекаю группу слева от нас — и, не дожидаясь ответа, он дал длинную очередь по перебегавшим солдатам.

Снова запахло сладковатой пороховой гарью.

В спину порывами дул ледяной ветер. С тугим пробочным хлопком разорвалась еще одна мина.

— Эй, Кирилл, погляди направо! — предупредил Силаев.— Там опять фрицы!

Кирилл поднес к глазам бинокль и увидел совсем рядом, почти в упор, на том же карнизе, что и накануне, двух немцев. Каким образом они сумели туда вползти, он не знал, да это было и не важно. Просто он слишком увлекся той фланговой группой. Сейчас на фоне темной скалы солдаты были видны достаточно отчетливо. Да они особенно и не прятались. У одного из них был наготове автомат, другой в левой руке держал смотанную в кольца веревку, а правой что-то быстро раскручивал в воздухе. Еще секунда, и темный предмет, привязанный к концу веревки, описав в воздухе навесную траекторию, упал по другую сторону скального гребня.

«Якорь! — молнией пронеслось в сознании Кирилла.— Железная кошка!» Вот в чем подвох. Они заранее выбрали место, где скальная стена не слишком высока, отвлекли внимание. А главное, егеря теперь оказались ближе того места, где на хребте были поставлены мины. Он же чувствовал: что-то будет!

Между тем немец подергал за конец веревки, но якорь, видимо, не смог хорошо закрепиться и перелетел обратно через гребень. Солдат отскочил в сторону, и кошка упала в снег прямо у его ног. Он тут же стал поспешно наматывать веревку на локоть с явным намерением повторить попытку.

— Федя, бегом за пулемет! — крикнул Кирилл, выползая на локтях.

Он подхватил автомат, приготовленный ими на всякий случай, и побежал, прыгая на своих длинных ногах. Только бы поспеть!

Даже пригибаясь, на бегу, Кирилл не мог не заметить, как кошка второй раз перемахнула через поставленные на ребро сланцевые плиты. Он был уже близко, он видел, как скребут по камню острые якорные лапы, как ищут они малейшую трещинку, малейшее углубление, лишь бы закрепиться. А он все бежал, оскальзываясь на прессованной английской подошве и прыгая козлом через запорошенные снегом обломки скал.

Якорь все-таки нащупал какую-то выбоину. Веревка подергалась и натянулась. Кирилл часто дышал, и сердце его трепетало, когда он наконец добежал до места. Сейчас достаточно было ударить каблуком, и не очень надежно закрепленный якорь наверняка полетел бы вниз, но Кирилл продолжал стоять как завороженный, глядя на прочную, по-особому сплетенную веревку. Она чуть подрагивала и раскачивала якорь. Он не видел противника, и противник не видел его.

Там, на седловине, ударил длинной очередью и смолк ручной пулемет. Значит, Федя не дремлет. Стараясь не шуметь, Кирилл оттянул короткую рукоятку затвора. Она клацнула едва слышно. Из-за гребня отчетливо доносилось сопение и скрежет альпинистских триконей о шероховатую поверхность камня.

Наконец чьи-то мокрые, побелевшие от напряжения пальцы ухватились за край плиты. Вот и вторая рука мертво вцепилась в острый излом. Кирилл отступил на шаг и поднял автомат.

Над краем скалы сначала возник капюшон, а за ним и лицо немца с узким кожаным ремешком на самом кончике подбородка. Белые округлившиеся глаза смотрели неотрывно в черный зрачок автомата.

У Кирилла нервно дернулась щека, и он надавил на спуск. Автомат рванулся у него в руках, и Кирилл с ужасом увидел, как лицо немца превращается на глазах в громадный дуршлаг с черными дырами. От его головы летели какие-то шмотья и осколки похожие на фаянсовые черепки. Автомат грохотал, не переставая. Кусками отрывалась белая ткань капюшона, а побелевшие пальцы все еще впивались в края плиты...

Автомат умолк сам по себе — в диске кончились патроны,— а Кирилл по-прежнему продолжал давить на спусковой крючок, словно палец свело судорогой. Ему казалось, что это длилось вечность, на деле же прошло около пяти секунд. Только теперь руки немца разжались, и тело его тяжелым мешком шлепнулось на карниз. Кирилл все это время с такой силой стискивал зубы, что заболели скулы. Он спохватился и стал быстро выбирать на себя веревку, хотя, судя по всему, о ней уже никто не заботился.

Пробираясь на свою позицию, Кирилл видел, как с юга к перевалу подступает белая облачная стена. От нее еще больше веяло холодом и сыростью. Его слегка мутило, и он несколько раз вдохнул воздух полной грудью. Время от времени он слышал тарахтение пулемета.

Силаев с готовностью уступил ему место. Заметив, что Кирилл немного не в себе, он сказал:

— Я все-таки снял одного. Жаль, винтовка стала капризничать. Не досылает патрон. Снег попал, что ли?

— А ты его ладонью добивай,— посоветовал Кирилл.

Силаев всегда действовал на него успокаивающе.

— Попробуем,— кивнул Федя и, загребая ногами, пошел вразвалочку на свое место.— Диск я только поставил,— предупредил он.— Последний!

Рядом засвистели пули. Эти стрелки никак не успокаивались.

— Пригибайся, черт! — рявкнул на него Кирилл.— Гуляет, как в сквере...

Но Федя уже укладывался за камнями на утрамбованном снегу. Кирилл на всякий случай сменил в автомате магазин, лег за пулемет и примерился к прикладу. Руки уже не дрожали Значит, он преодолел что-то, перешагнул через немыслимое.

Кто-то из немцев высунулся из-за камня, и Кирилл снова заставил его залечь.

Рваные клочья облаков промчались над перевалом, в спину ударил снежный заряд, и тут же громадная воронка цирка стала тонуть в сизоватой мгле. Ему показалось, что на левом фланге у нижней кромки ледника, немцы начали подниматься из-за камней, наверное, решили воспользоваться плохой видимостью.

— Федя, работай! — крикнул Кирилл, не замечая, что повторяет любимое словечко своего сержанта.

Силаев не стрелял. «Наверное, опять клинит затвор»,— подумал Кирилл.

Немцы окончательно осмелели. Цепь поднялась в рост, готовясь броситься на штурм каменного завала. Снег ослепил их. Кирилл же мог еще кое-что различить, и он стал посылать в клубящуюся муть одну за другой очереди трассирующих пуль. Он бил прицельно и видел, как еще один егерь упал, точно подрубленный.

Ветер усиливался, снег летел гуще и гуще, а Федя все не мог управиться со своей винтовкой. В этот момент слева послышался взрыв — один, другой...

— Ура! Они нарвались на минное поле! — заорал Кирилл не своим голосом.— Федя, ты слышишь?

Федя отдыхал, опустив голову на приклад винтовки. Снежная крупка с треском секла его по спине.

— Кончай ночевать! — крикнул Кирилл.— У нас теперь антракт на двадцать минут, как в хорошем театре.

Но Федя не отзывался и не поднимал головы. Сердце у Кирилла сжалось от страшного предчувствия. Он схватил товарища за плечо и рывком перевернул на спину. Глаза у Феди были прищурены, а между бровями, под самым обрезом каски, темнел сгусток, из которого едва заметно сочилась кровь... Кирилл вздрогнул. Мозг его бунтовал, все в нем противилось тому, что он видел.

Кирилл попытался приподнять Федю за плечи, но голова друга беспомощно мотнулась и откинулась назад. Снег под ней почернел и подтаял от горячей крови, ручьем бежавшей сквозь продранный капюшон.

Отчаяние и злоба охватили Кирилла. Он увидел рядом две гранаты, заботливо прикрытые плоским камнем, схватил их и, поднявшись, изо всей силы метнул одну за другой в мутный провал. Гранаты рванули где-то внизу, скупо озарив мглу желтоватыми всполохами. Потом он бросился за автоматом и, став у самого края обрыва, начал строчить длинными очередями в это клокочущее вспененное молоко, и только пульсирующее пламя отчаянно билось в пазухе дульного тормоза, на его косом срезе...

12

Расстреляв все патроны, Кирилл сел на обломок скалы спиной к ветру и обхватил голову руками. Что делать? Теперь он остался совсем один. Кирилл вдруг отчетливо осознал, что потерял очень важных для себя людей. Всего остального сейчас просто не существовало.

Как поступать ему дальше? Еда прикончена, боеприпасы на исходе. Не может же он бессменно стоять в карауле — не есть, не спать, не отлучаться. И все-таки теперь, после всего, что было, разве он способен отсюда уйти? Кирилл все еще жив. Раз уж тройной заслон, пусть и останется тройным до конца. Скорее он сдохнет от пули или голода, чем сдвинется с места.

«Камни помогут»,— вспомнил он слова, быть может, случайно оброненные Костей. Но вдруг ему показалось, что все это было сказано не зря. Ведь он же видел, как снег слепил фрицам глаза, как валуны выставляли им навстречу свои широкие обледенелые лбы, как противотанковыми надолбами ощетинивались на их пути каменные утесы, а лавины устраивали лесные завалы. И разве самого Кирилла перевал не вознес на недоступную высоту? Значит, горы, родина его друга, были с ним заодно...

Кирилл поднялся, собрал все оружие и отнес в блиндаж, потом, отворачиваясь от секущего снега, подошел к Феде, снял с его пояса ножевой штык, вытащил документы и переложил в свой карман. С трудом нащупал винтовочные патроны. Ровно пятнадцать штук. Про запас. Сделав штыком надрез на маскхалате, он оторвал капюшон. Следы крови припорошило снегом. Кирилл снял с Феди каску, вытер чистым углом тряпки его бледное лицо с посиневшими губами и уже заострившимся носом, осыпанным крупными веснушками. На белой материи остались красные полосы, и он удивился, что не испытывает ни брезгливости, ни страха.

Окровавленным обрывком халата Кирилл обернул Федину голову. Потом он стал подбирать куски плитняка — до мелочи было уже не докопаться — и обкладывал ими мертвого друга, который, сам того не подозревая, облегчил ему работу, заранее натаскав камней в бруствер своей огневой. У Кирилла обледенели мокрые рукавицы, занемели пальцы, но он все выбивал каблуками смерзшиеся сланцевые плитки и таскал, таскал, не чувствуя ни усталости, ни обжигающего ветра, словно то, что он делал, было решающим в его судьбе, словно от этого зависела вся его жизнь.

Он сходил за винтовкой и дал прощальный салют.

— Вот и все,— сказал он вслух.

Вернувшись в блиндаж, Кирилл засветил коптилку, растопил печь и стал набивать пустые автоматные диски. Когда стало тепло, он стащил с себя маскхалат и снял каску. Потом повесил сушить рукавицы и принялся чистить Федину винтовку. Покончив с этим делом, он вставил в винтовку заряженный магазин и прислонил ее к стене рядом со своим пулеметом. Затем в оставшиеся гранаты сунул детонаторы и разложил их на пустом ящике возле нар.

Действуя все так же, как заведенный, Кирилл набрал в котелок снегу и поставил на печь. Ожидая, пока закипит вода, чтобы бросить в нее последнюю горсть манки, он стал просматривать документы погибших друзей. Рядом с Фединой красноармейской книжкой лежал сложенный вдвое треугольник. Письмо было написано на листке из ученической тетради в клеточку. Кирилл развернул его и прочитал: «Здравствуйте, Федор! Пишет Вам Ваша знакомая Люда из Хосты. Вы не представляете, как рада я была получить Ваше письмецо прямо с передовой. Значит, вы живы и здоровы...»

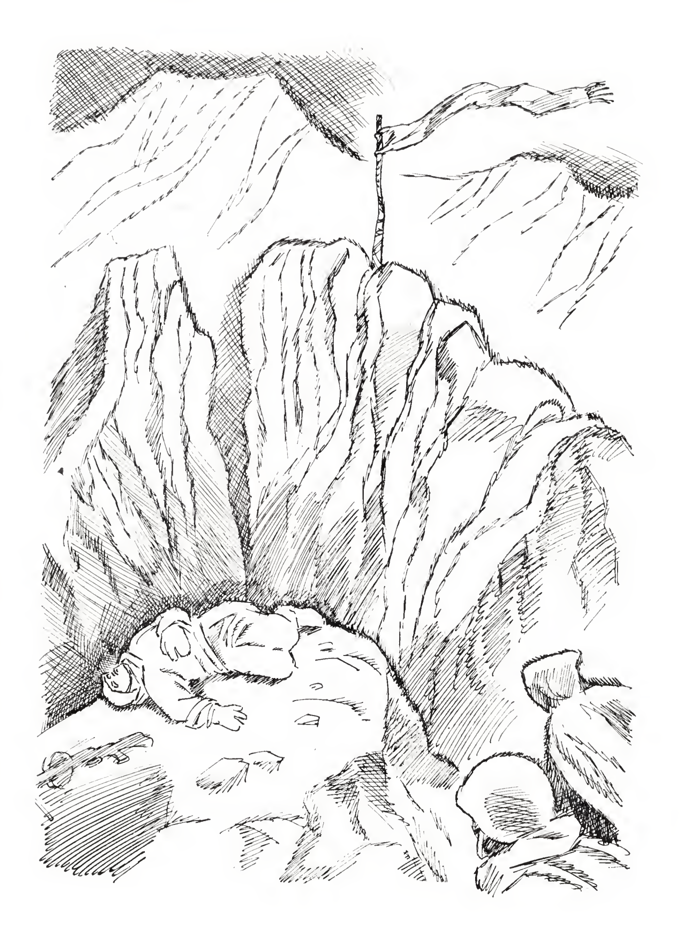
Кирилл скомкал письмо и бросил в огонь.

Всю ночь он просидел на нарах, завернувшись в тулуп и держа автомат на коленях. Всю ночь, не переставая, лепил снег, хлестал ураганный ветер. Он дико завывал в жестяной трубе, яростно трепал и надувал парусом плащ-палатку...

Только перед рассветом Кирилл забылся в недолгом и чутком сне. Проснулся он от холода, от того, что перестал чувствовать собственные ноги. Дрова в печке давно прогорели, и ветер без труда выдул из блиндажа остатки тепла. К утру метель утихла, но стужа усилилась. Он сидел, скорчившись, коченея в темноте, как последний житель на остывающей мертвой планете.

Кирилл с трудом разогнул колени, спрыгнул с нар и стал изо всех сил топать тяжелыми ботинками по смерзшейся земле. Только сейчас он пожалел, что с вечера не обул валенки. Возле дверного проема сквозь щели за ночь надуло целый сугроб, и он, взяв лопату, принялся раскапывать проход. Нашел заготовленную с вечера растопку, снова затопил печь. Когда раскалившаяся железная бочка стала отдавать тепло, он разулся и долго растирал ладонями окоченевшие ступни, пока к ним не вернулась чувствительность. Потом надел валенки, растопил в кружке немного воды, плеснул туда остаток спирта и выпил залпом. Тряхнул головой, вытер слезы и стал закусывать остатками вчерашней несоленой каши.

Уже совсем рассвело, пора было выбираться из блиндажа. От мороза у Кирилла перехватило дыхание и стали слипаться ноздри. Стояла удивительная, редкостная тишина.



Он едва узнавал примелькавшийся ландшафт. Весь цирк потонул в снегу. Ни один куст, ни один валун не возвышались над этой однообразной белой равниной.

И разве найти тут Володю Конева. Он станет теперь частью этих гор, этих камней, скользкой глиной, холодной росой на траве. И кем он был в жизни, в какой части служил, имел ли семью, где оставил свой дом? Прекрасна судьба его и жестока! На веки веков суждено ему оставаться в списках пропавших без вести...

Не дожидаясь, пока прогорят дрова, Кирилл выжег штыком на фанерке: «Красноармеец Федор Силаев. Боец заслона». Попытался вспомнить точно, какое сегодня число, и не смог. Фанерку он прикрепил проволокой к черенку лопаты, а лопату поставил в изголовье могилы, до половины обложив камнями, которые с трудом выбил из бруствера пулеметной точки.

Потом Кирилл надел тулуп, сухие рукавицы, взял автомат и пошел под скалу, где обычно они несли свою службу и где сейчас, занесенный снегом, возвышался холм над могилой сержанта. Он вдруг подумал о том, что привычное выражение «предать земле» здесь утрачивало всякий смысл. Здесь можно было предать только камню.

На ворот тулупа медленно оседала седая морозная пыль. Опущенные и завязанные тесемками наушники обросли по краям инеем.

Перевал стал частью его жизни, его судьбы. Он не знал, что будет с ним через час, через день, через месяц. Одно он знал твердо: если ему суждено остаться в живых, перевал сохранится в нем, как незаживающая сквозная рана. И что бы ни случилось теперь, Кирилл вечно будет стоять в заслоне, на водоразделе добра и зла, до последней минуты, до последнего судорожного удара сердца...

Внезапно он услышал за спиной какое-то странное позвякивание. С опущенными наушниками Кирилл был как глухой, и посторонний звук казался от этого тем более неожиданным.

В десяти шагах от него с ледорубом в руках стоял старшина Остапчук в белом дубленом полушубке. Он молча переводил взгляд с одной фанерной таблички на другую, потом задержал его на красном шарфе, привязанном к железному флагштоку и траурно поникшем в полном безветрии. И когда Кирилл, приложив к шапке рукавицу, хотел доложить по всей форме, тот только горько махнул рукой:

— Мовчи, сынку, мовчи! — Он круто повернулся и зашагал, сутулясь, к двум незнакомым молоденьким бойцам, которые пришли вместе с ним.

Скорее всего они прибыли с последним пополнением прямо из военкоматов. Не иначе как двадцать четвертого, а то и двадцать пятого года рождения. Ребята вели себя шумно, хлопали рукавицами, греясь, норовили толкнуть друг друга плечом. И Кирилл подумал о том, какая же бездна сейчас отделяет его от них. Они явились сюда из совершенно иного мира, еще не преодолев главный порог познания.

Кирилл подошел к ним. Они смотрели на него так, словно перед ними возник живой марсианин или выходец с того света. Он не мог понять, чего больше было в их взглядах — сочувствия или любопытства. Поздоровался с ними, они ответили.

— Учора сусиды Санчару штурмом узялы,— сказал Остапчук. От его рта шел пар, и на усах белела изморозь.— Чотыри дни былысь. Багато полягло наших...

— Это плохо,— с усилием проговорил Кирилл. Его сухие жесткие губы свело стужей.— А мы тут все подмогу ждали...

— Некому пособлять було, хлопче. Прорвалысь хрыцы у Цагеркера.

— Кто же погиб из наших? — спросил Кирилл.

— Багато! — повторил старшина.—Командир першого взводу лейтенант Кравэць, политрук Ушаков, отой младший лейтенант, що з окружения, Киселев, чи як його...

— А Лина? Помнишь военфельдшера?

— Поранило. Мабуть, нэ дуже. У тыл вакуировалы.

— А этот, инженер Радзиевский?

— Нэ знаю,— покачал головой Остапчук.— Його тогда ще у полк забралы и всэ. Бильш я его нэ бачив.

— Жалко Ушакова,— вздохнул Кирилл,— и Киселева тоже. Всех жалко.

— Це всэ война распроклята. Ну нэ жаль, скажи: Истры нашего вже нема, а симья його знайшлась, тэпер дэсь на Урали. Вси живехоньки. А вы молодци, добре стоялы! Дывысь, ще медаль причеплють. Уполни заробыв.

— За что мне медаль? Моя медаль здесь останется, товарищ старшина.

Остапчук понимающе кивнул и повернулся лицом к могиле сержанта:

— А капитан казав, що шкуру з його здере и сушить повисе.

— Это за что еще? — устало поднял глаза Кирилл.

— За того раненого, що з оружием пропустылы... Чашкин, Кружкин, чи Ложкин...

— Рюмкин,— вспомнил Кирилл.

— З мэдсанбату звонылы, що вин, собача душа, самострел. Пороховый ожог у його знайшлы.

— Ну вот,— грустно усмехнулся Кирилл,— выходит, на этот раз Федя был прав...

Остапчук спохватился:

— Ну, хлопче, збырайся. Прогноз дуже поганый. Днем у горах мороз, а в нычь витэр со снигом. Ще нэ выберемось.

— А эти что, одни остаются? — удивился Кирилл.— Вдвоем?

— Утром прыказ був — знимаем заслон. Всэ, точка!

У Кирилла дернулась щека. Он зажмурился и до боли сжал челюсти, чтобы старшина, упаси бог, не увидел его слез.

— Ну, хлопче, що робыть будемо? — Остапчук опустил ему на плечо тяжелую руку.

Кирилл не ответил.

Сквозь облака чуть проглянуло солнце, и снег мгновенно засверкал, заискрился. Языком негасимого пламени вспыхнул шарф Константина Шонии. Остроконечная вершина справа от перевала напоминала громадный зуб, нацеленный в небо.

Краснодар, 1975 г.

✪

Кончена дружба — дороженьки врозь.
Как не отметить событие это!
Все же немало пожито, попето,
Славно нам пелось и славно жилось.
Сядем, как прежде, и сыр пожуем,
Чаши наполним и души остудим,
Что пережито, того не забудем,
Что позабудется — переживем.
Все, что простительно, то прощено,
Что непростительно, то не простится.
Можно б ругаться, но проще проститься,
Кончена дружба — допьемте вино.
Кончена песня, и ночь на дворе,
Спеть бы другую, да поздно, да поздно.
Швы разошлись, разойдемся порозно —
Ночь на дворе и виски в серебре.
Все же позвольте, тряхнув сединой,
Пару слезинок глотнуть напоследок.
В том-то и дело, что больно он редок —
Дружбы старинной напиток хмельной.

✪

Счастье кончилось, и вот
У души раздоры с телом,
Намекнула между делом
Душа телу на развод.

Разведутся, разойдутся —
Тело вниз, душа наверх.
А я, бедный, куда денусь,
С кем остаться мне навек!

С телом в темень не хочу.
Чем в бездушии заняться!
К душам жить не полечу:
Ни прижаться, ни обняться.

Мне бы с вами, мне бы с вами,
Хоть на корочке сухой,
Хоть на краешке скамьи,
С вами, милые мои.

✪

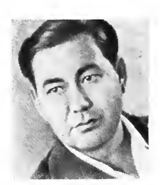
А мне красться не судьба черными горами;
Не студить чумного лба черными ветрами;
Ни при звездах и луне, ни под черной тучей
Не толкать ладонью мне
Двери нескрипучей.

Ничего мне не понять на высоком ложе,
Поцелуем не унять
Чьей-то дивной дрожи,
Не цепляться за плечо на краю обрыва.
Отчего так горячо,
Отчего счастливо!

Не срывался я, хмельной, в пустоту обвала.
Ничего того со мной
Сроду не бывало.
Не бывало до сих пор и не будет случай:
Не бывает черных гор,
Двери нескрипучей.

И не снится мне обрыв прямо с кручи горной,
Где сидит, глаза прикрыв, старый ворон черный;
Старый ворон, черный вран — все он ждет, зевая,
Пока вытечет из ран моя кровь живая.

Аманжол Шамкенов



У Вечного огня

Друг, ощути дыханье немоты,
Вглядись в огонь тяжелыми глазами:
Вот проступают зримые черты
Сквозь годы, расстоянья и пламя.

Нам мертвые забвенья не простят,
В бою ли пали, в мирное ли время.
Остановись и оглянись назад:
В том, что ушло,— навеки наше бремя.

Нет горше доли — друга не найти.
Наедине остаться с откровеньем.
Пусть друг со мной останется в пути.
Пусть память обойдет его забвеньем.

✪

Она ли это!.. Я не верил сам.
Она ли это!.. Пламя по глазам —
И вот душа моя необъяснимо
Летит к тебе, наперекор годам.
И снова я тобой приворожен.
Кольцом надежд надежно окружен.
И спрашиваю я: какою тайной
Я от тебя, как прежде, отдален!
Непостоянен срок, что жизнью дан.
В твоих словах был сладок мне дурман.
Но если б те года смогли вернуться,
Опять я согласился б на обман.

✪

И снова я вижу улыбку твою.
И снова пред памятью тихо стою.
Давно уж костры на путях отгорели.
Зачем же ты мучаешь душу мою!
А годы — к ним только ладонь протяни,
Как быстро, бесшумно промчались они.
Но стоит улыбку твою мне увидеть —
И мечется сердце, как в прежние дни.
И мне не найти уже, видно, твой след.
Уходит дорога в далекий рассвет.
Но как бы судьба твоя ни изменилась,
Роднее тебя и не будет и нет.
Угасло ли пламя волос смоляных,
Дотронулся ль утренний иней до них!
Нас время коснулось особенной метой,
И нежности голос не замер, не стих.
Я вспомню березу. Но, тихо звеня,
Чужая березка замрет среди дня.
И все же не надо назад возвращаться.
Оставь мне улыбку — не мучай меня.

Перевела с казахского
Т. КУЗОВЛЕВА

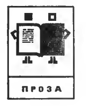
Людмила
УВАРОВА



МОЙ ОТЧИМ

РАССКАЗ

Рисунки
З. СМЕХОВА.



Примерно два раза в неделю я ездила навещать бабушку. Трамвай номер десять вез меня через город к Калужской площади; синим блеском отсвечивали рельсы, звенел звонок вагоновожатого, на остановках все новые пассажиры, шумя и толкаясь, вливались в вагон, в то время как другие пассажиры продирались к выходу.

Если удавалось захватить место у окна, я усаживалась, и большей частью мне в голову приходили одни и те же мысли — об отчиме.

Моя мама любила его и верила ему, а он изменял ей, я это знала. И знала также, что, предавая маму, он все же не хочет потерять ее и боится, ненавидит меня.

Было мне в ту пору четырнадцать лет, и хотя я отличалась чрезмерной доверчивостью, обычно присущей такому возрасту, я в то же время была наблюдательна. Инстинкт заменял мне опыт, я бессознательно чувствовала: надо молчать и только молчать.

До сих пор не могу не удивляться собственной, неожиданной для самой себя выдержке, каменному своему молчанию.

Я желала лишь одного: чтобы мама ничего не узнала, потому что своим маленьким уязвленным сердцем, уязвленным оттого, что я страдала, не могла не страдать за маму, я понимала: мама не выдержит.

А отчим не верил мне, моему молчанию.

И, будучи сам подлым, полагал, что в конце концов я предам его.

Ведь мы обычно судим о других по себе.

Мне нелегко жилось дома, потому я с особенной охотой ездила к бабушке. Она и дедушка обитали в двухэтажном особняке, неподалеку от Калужской площади, на Коровьем валу.

У них были две небольшие, всегда жарко натопленные комнаты, на кухне — русская печь с лежанкой, на подоконниках цветы — сирень в горшке, мальва и герань.

Едва я войду в дверь, как бабушка уже лезет за круглое настенное зеркало: там хранились журналы, которые бабушка специально покупала для меня: «Вокруг света», «Мир приключений», «Чудак» и «Бегемот».

— Вот, читай! — скажет бабушка, и милое синеглазое лицо ее яснеет в улыбке.

Я сажусь за стол, а она проворно и ловко суетится, ходит из кухни в комнату и обратно, вот уже звенят на столе чашки, появился свежий, только-только из печки яблочный пирог с верхушкой-клеточкой, шумит самовар, вьется пар над чашками. О, как тепло, как уютно в бабушкином доме! Здесь легко дышится, здесь меня любят и душевно, искренне радуются, когда я приезжаю.

Я пью чай из своей любимой, розовой в горошек чашки, а бабушка тем временем заводит патефон. Патефон переделан из древнего граммофона дедушкиными золотыми руками, его надо долго заводить.

Почему-то он напоминает мне старинный телефон, который иной раз приходится видеть в кинокартинах, там тоже имеется ручка, и ее следует настойчиво крутить, пока не ответит телефонистка.

Больше всего я люблю слушать цыганские романсы в исполнении певицы Тамары Церетели. У нее низкий, почти мужской голос, иногда он звучит сильно и громко, иногда замирает до шепота.

Особенно мне нравится романс «Дорогой длинною».

Медленно, спокойно Тамара Церетели начинает:

Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки...

Потом голос ее разрастается, ширится, набирает силу. Она поет:

Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня,
Да с той старинною, да семиструнною...

А в конце уже тихо-тихо, чуть ли не шепотом:

Дорогой длинною, да ночью лунною...

Я представляю себе Тамару Церетели очень высокой, царственно красивой, этакой королевой с орлиным взглядом и плавной поступью.

— Да нет, — улыбается бабушка. — Я ее как-то видела, на Воробьевых горах. Мне ее показали, маленькая такая, толстая, волосы черные и седая прядь над самым лбом...

Наслушавшись песен всласть, я беру журналы, лезу на печку — там дедушка приспособил лампочку на шнуре — и лежу, читаю в тепле, потом засыпаю и сплю до утра, до того часа, когда бабушка начинает меня будить, а я зарываюсь головой в подушку и мычу с закрытыми глазами:

— Сейчас... Сию минуту...

Бабушка стаскивает с меня одеяло, а дедушка бреется, стоя перед зеркалом, укоризненно качает головой.

— Ей, наверно, снится, что она в деревне...

— Наверно, — соглашается бабушка. — Где еще можно на печке спать?

— Сейчас заберусь и стащу за ноги, — грозит дедушка.

Дедушка мой — человек примечательный.

Помню, прочитала я рассказ Лескова «Левша» и сразу тогда подумала: точь-в-точь дедушка.

Он умел решительно все: чинить, строить, ремонтировать, даже, кажется, шить и вышивать, и наверняка сумел бы подковать блоху не хуже знаменитого Левши.

Вот уж поистине был умелец на все руки! Что бы у кого из соседей ни случилось: засорился ли дымоход, погасло ни с того ни с сего электричество, сломался велосипед, не действует водопровод, провалились доски пола, развалилась собачья конура, протекает крыша — все, что угодно, — со всеми бедами шли к дедушке, и он никогда никому не отказывал, всегда охотно помогал каждому, кто бы его ни попросил.

Дедушка работал слесарем в мастерской на ипподроме. Иные удивлялись: он мог бы устроиться куда лучше, выгодней для себя, но дедушка не хотел уходить — он обожал лошадей и потому на работу каждый день ходил с радостью.

Бывало, придет домой веселый, карие глаза походят на две запятые, морщинки разбежались от висков.

— Что? — спросит бабушка. — Победа?

— Еще какая!

Дедушкин голос звучит ликующе.

— Как я и говорил, Сильва пришла первой и в дубле и в одинаре. Стало быть, следует пропустить баночку за Сильвину победу...

Дедушка в торжественный день не забывал выпить рюмку-другую.

Зато каким удрученным, поникшим возвращался он тогда, когда его любимая лошадь проигрывала.

Бабушка, хорошо изучившая его за чуть ли не полвека совместной жизни, ни о чем не расспрашивала, понимая все как есть с одного взгляда.

Дедушка ложился на кровать лицом к стене, но не спал, протяжно вздыхая. Наконец, не выдержав, поворачивался на другой бок, окликая бабушку:

— Ты где, старуха?

— Вот она я, — отвечала бабушка.

— Плохо дело, — говорил дедушка. — Маргаритка дала сбой, и Тюльпан подвел, оба сразу...

Бабушка сочувственно качала головой, потом спрашивала:

— Хочешь чайку горяченького?

— Тебе бы только чайку, — ворчливо отвечал дедушка. — Вселенское лекарство — чаек горяченький!

Однако, покряхтев, поворчав, садился за стол, долго, с удовольствием пил чай, а после подробно рассказывал, как и почему Маргаритка, кобыла чистейших кровей, дала сбой и подвел непобедимый орловец Тюльпан.

К слову, дедушка никогда не играл на бегах. Когда-то, тому уж много лет, поставил он на какого-то фаворита, которому все предсказывали бесспорную победу, и... проиграл. Фаворит вдруг споткнулся, пришел пятым.

На дедушку это поражение так подействовало, что он даже заболел. Он не был жадным, вообще придавал мало значения деньгам, финансами в их скромном доме заправляла бабушка, отменная, экономная хозяйка. Но он не любил проигрывать, даже в лото, даже в карты.

С того дня дедушка уже никогда и рубля не поставил ни на одну лошадь, хотя, случалось, его подбивали друзья-приятели, да и сам понимал: одна ставка может принести немалый выигрыш. И все-таки держался, стоял на своем.

— Я лошадей не из корысти люблю, — говорил.

Бабушка была много умнее дедушки, но, как истинно умная женщина, старалась не показывать превосходства своего ума, напротив, часто спрашивала у него какой-либо совет, хотя привыкла сама решать и, конечно же, поступала так, как ей того хотелось, но говорила:

— Все сделано по-твоему. Разве сам не видишь?

И дедушка соглашался с нею:

— Разумеется, вижу.

От дедушки обычно скрывалось то, что могло бы как-то огорчить его.

— Он слабый,— говорила бабушка.— Ломкий, одним словом.

Теперь, спустя годы, я думаю, что не такой уж он был слабый и ломкий.

Но так уж повелось в семье: бабушка все трудности жизни охотно взваливала на свои плечи, оберегая дедушку, и потому дедушка постоянно был уверен, что все хорошо и в его семье и в семье дочери — моей мамы.

А бабушка, та знала многое, если не все, но не говорила об этом никому.

Лишь спустя несколько лет я как-то с нею разговорилась. В ту пору я уже окончила институт, начала преподавать немецкий язык в школе. Бабушка к тому времени жила одна: дедушка лет пять как умер.

Она тогда сильно поддалась, одряхлела, но голова по-прежнему оставалась светлой.

Я входила к ней, и бабушкины глаза неизменно радовались мне. С трудом, опираясь руками о стол, она вставала со стула. И всегда один и тот же вопрос:

— Будешь чай пить?

До сих пор помню...

Сидим мы с бабушкой за столом. Горячие оладьи со сметаной, только-только из печки, соленые огурчики, маринованные опята, и над всей этой вкуснотой шумит, пыхтит, исходит паром старинный самовар, памятный мне с самого раннего детства.

Бабушка, улыбаясь, глядит на меня, а я уплетаю все подряд: оладьи со сметаной, огурчики, грибы, пью чашку за чашкой хорошо заваренный чай (почему из самовара чай вкуснее?), слизываю с ложечки земляничное, любимое бабушкино варенье.

Как это начался тогда у нас разговор о самом горьком и сокровенном, теперь и не вспомнить.

Да и почему начался, не пойму — кругом было так идиллически спокойно, безмятежно шумел самовар, от голубых изразцов печки-голландки несло ровным теплом.

Помню только, как бабушка сказала:

— Это же дело прошлое, к чему ворошить?

Я сказала:

— Не могу ничего забыть.

— Надо,— строго, наставительно произнесла бабушка.

Однако мне показалось: в голосе ее нет жесткой, обдуманной уверенности.

— Почему надо? — спросила я.

Она промолчала. Лицо ее на миг страдальчески сморщилось.

Я поняла: и ее *это* грызло так же, как и меня, грызло, жгло, точило, не давая покоя никогда, ни днем, ни ночью.

И тогда я не выдержала. Прорвалось. Нелегко, совсем нелегко дались мне долгие годы упрямого молчания, ставшая привычной боязнь, чтобы не дошло до мамы, чтобы она ненароком не догадалась, не узнала, не почуяла...

Слова слетали с моих губ, жестокие, неистовые, отчаянные. Я проклинала отчима, который в ту пору был уже мертв, проклинала негодяйку, с которой он обманывал маму. слезы душили меня, я кричала на бабушку:

— Можешь ли ты понять, чего мне все это стоило? Ведь когда началась вся эта грязь, мне не было четырнадцати...

Внезапно я оборвала себя. По бабушкиным щекам лились слезы. Она плакала неслышно, тихо, словно бы помимо своей воли.

— Бабушка!

Я прижалась горячей щекой к ее руке, я целовала ее ладонь, пальцы, сгиб руки, а она все молчала, и только слезы катились из ее глаз, смотревших куда-то поверх моей головы.

— Успокоилась? — спросила она наконец.

Я крепко-крепко вытерла платком пылающее лицо.

— Мама часто вспоминает о нем, говорит, какой он был хороший, а я не могу это слышать...

— Надо мочь,— почти шепотом произнесла бабушка.

— Я молчала столько лет! — воскликнула я.

— И что же? Теперь хочешь сказать?

Сказать? Нет, я и теперь, когда отчима уже не было в живых, не хотела бы омрачить мамину веру в него. Ведь это означало бы несказанно огорчить ее.

— Я не могу видеть, как она ездит на кладбище,— сказала я.

Бабушка все так же наставительно повторила:

— Надо мочь.

Да, она была права, я это понимала. Надо мочь. Ради мамы, ради ее спокойствия, ради ее душевного мира.

Потом я спросила:

— Бабушка, выходит, ты знала?

Она помедлила немного.

— Знала.

Глаза ее потемнели; некогда черные, а теперь уже давно поседевшие брови сошлись.

Знакомым с давних пор жестом она обеими ладонями провела по глазам, как бы стремясь хорошенько протереть их.

— Так вот, помни, Ляля, маме ни слова. Поняла?

Я кивнула.

«Но это же было, было»,— хотела я сказать и промолчала.

Дома мама ждала меня с ужином. Она никогда не садилась за стол, если меня не было. И постоянно ждала, чтобы мы сели вместе.

Она вязала мне лыжную шапочку, черную с красной каймой.

Мамины длинные, слегка загнутые кверху пальцы проворно и легко двигались. На стене, над маминой головой, висел портрет отчима, я словно бы впервые увидела узкие, глубоко посаженные глаза, щеточку усов над маленьким, почти женским ртом, налитые брыластые щеки

«Какой у него лживый рот»,— подумала я.

И снова вспомнились мне мучительные дни прошлого, когда я все видела, все знала и ничего не могла сказать. Ни одного слова.

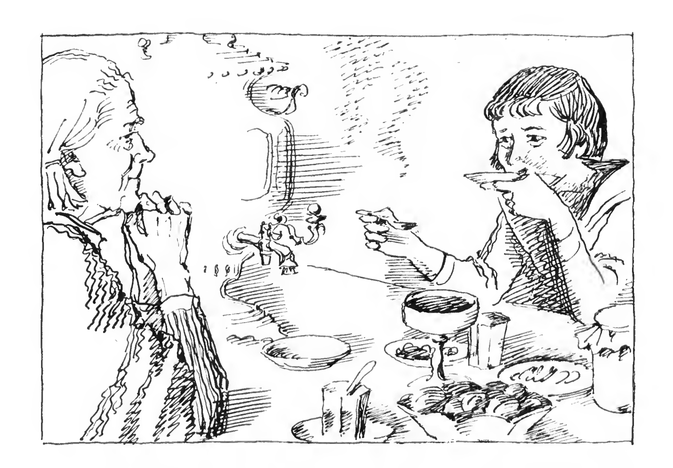
Она поселилась в нашей квартире однажды летом, когда освободилась комната при кухне: умерла одинокая старушка, которую весь наш дом от мала до велика звал тетей Грушей.

Аглая была портниха. Это мы, ребята, населявшие нашу большую, длиннокоридорную «коммуналку», поняли сразу, потому что сперва грузчики перевезли швейную машинку, потом грудастый и бедрастый манекен табачного цвета и еще множество связанных вместе журналов мод примерно за пятнадцать последних лет.

И еще — всевозможные чемоданы, корзинки, баулы и узлы.

Аглая была невысокого роста, с грубыми, наспех слепленными чертами лица невыразительного, как бы стертого. Жидкие ее волосы были подстрижены в кружок, по тогдашней моде, губы неумело накрашены темно-брусничной помадой.

Она была некрасива и, должно быть, сознавая свою непривлекательность, не ждала от жизни никаких особых радостей. К тому же еще она обладала недобрым, завистливым характером.



Наши жильцы головами качали, подсчитывая, сколько вещей оказалось у этой невзрачной на вид, скромной бабенки.

И только мама, осторожно постучав к ней в дверь, спросила:

— Хотите чаю?

— Хочу,— ответила Аглая.

Она вошла в нашу комнату, скромненько села на самый кончик стула, восхищенно огляделась вокруг.

— Как у вас хорошо!

У нас была старинная, немодная в ту пору мебель, громоздкая и не очень удобная: массивный буфет мореного дуба с выпиленными в самых неожиданных местах виноградными кистями, яблоками и грушами — нередко, открывая дверцу буфета, я больно ушибала руку об это самое деревянное яблоко или царапала лицо о виноградную гроздь,— широкая кровать с высокой спинкой, бронзовая, вся в стекляшках люстра, похожая на опрокинутый кверху колокол.

Благодаря маминым стараниям у нас было очень чисто, мама постоянно протирала всю эту мебель, которая, как я теперь понимаю, была достаточно уютным вместилищем пыли, на окне стояли горшки с цветами — мама, как и бабушка, любила цветы.

Аглая допивала вторую чашку, когда явился отчим. Сухо кивнул Аглае — он не любил, приходя с работы, встречать в доме чужих людей — и, взяв полотенце, пошел в ванную мыть руки.

Вскоре он вернулся из ванной, вытирая руки.

— Это еще кто? — спросил, глядя на дверь, которая закрылась за Аглаей.

— Новая наша жиличка,— ответила мама.— Кажется, симпатичная.

— У тебя все симпатичные,— проворчал отчим и сел за стол, а мама рванулась на кухню за супом: отчим требовал, чтобы к его приходу суп кипел на все сто градусов.

Как это все началось? Все то постыдное, грязное, омрачившее мою раннюю юность?

Я ловила их взгляды, тайные и лукавые взгляды двух сообщников, которыми они обменивались за спиной у мамы.

Не знаю, замечали ли остальные жильцы то, что творилось? Может быть, и нет. Мало кому было дело до Аглаи, до моего отчима, каждый жил своей отдельной, нелегкой жизнью.

Может быть, поэтому они распоясались. Стоило маме уйти куда-либо, как отчим мгновенно нырял в комнату Аглаи. Сколько раз приходилось мне слышать, как щелкает замок в ее хилой двери! Сколько раз хотелось выломать эту дверь и кричать, кричать до тех пор, пока все люди не сбегутся и не засмеют обоих бесстыдников, не покроют их несмываемым позором...

Но нет. Приходилось молчать. Отчим перестал меня бояться, а у Аглаи хватало наглости заходить к маме поболтать по-соседски, и мама говорила мне о ней:

— В сущности, жаль ее, бедняжку, все одна да одна...

Кулаки мои сжимались, горечь переполняла сердце, и вдруг я начинала ни с того ни с сего громко смеяться, чтобы не заплакать.

Мама удивленно спрашивала меня:

— Чего ты смеешься?

— Так, ничего,— отвечала я и смеялась все громче, все надрывнее.

Но, как говорят, когда-нибудь нарыв все-таки должен лопнуть.

Однажды поздней осенью я вернулась из школы домой. Мама была на работе, а отчим лежал дома, у него была ангина с высокой температурой.

Я вошла в нашу комнату, само собой, не постучавшись. В тот же момент Аглая мгновенно отбежала от кровати отчима, вихрем промчавшись мимо меня к двери.

Я молча положила свои тетради и учебники на стол, стараясь не глядеть на отчима. Щеки мои пылали. Вдруг вспомнилось, как мама перед работой «накачивала» меня: поставь кипятить молоко, купи лимон, приготовь полосканье, подогрей бульон, напомни ему мерить температуру... Мама думала, и заботилась о нем, и любила его, а он...

И вдруг, почти помимо своей воли, я подняла голову и спросила:

— Скажите, сколько так будет?

— Что? — рассеянно переспросил он, думая, наверное, о чем-то другом.

— Сколько так будет? — повторила я.

— Ты о чем это?

— О том самом,— ответила я.

Он понял меня, пренебрежительно махнул своей пухлой, мясистой ладонью.

— Хватит!

— Почему хватит?

— Хватит.— Он произнес это слово пренебрежительным тоном, должно быть, потому, что наконец-то уверился за все это время в моем молчании.

— Нет,— сказала я.— Не хватит. Кончится тем, что возьму и все, все, все расскажу маме.

Он сощурил один глаз, будто желая лучше разглядеть меня:

— Врешь,— сказал просто.— Не расскажешь!

Он был много старше, опытнее, лукавей меня, ему ничего не стоило лгать и притворяться изо дня в день, к тому же он уже знал, что ему нечего меня бояться, я не смогу ничего рассказать маме, потому что боюсь за нее и жалею.

— Расскажу,— сказала я и подошла ближе к кровати.— Я больше так не могу. Видеть все ваши гадости и молчать...

Я не докончила. Он проворно вскочил с кровати, ринулся ко мне и с размаху влепил пощечину. Я даже качнулась от силы удара, но выстояла. В ушах моих звенело, голова кружилась.

— Вон,— задыхаясь от ярости, прохрипел он.

Не помню, как я выбежала, как пронеслась по коридору. Кто-то, кажется, это был мой маленький сосед, словно щенок, бросился мне в ноги.

— Постой, куда бежишь? Давай вместе побегаем...

Я ничего не видела, не слышала. Быстро открыла дверь, промчалась вниз, на улицу. Не помню, где я тогда ходила, по каким улицам и переулкам. Мне не хотелось ни пить, ни есть, ни спать, я бродила без устали, переходила с одной стороны на другую, зачем-то возвращалась на одни и те же перекрестки и снова брела куда глаза глядят, куда ноги идут...

Проходя мимо какого-то дома, наверно, это была парикмахерская, я случайно наткнулась на свое лицо в зеркале. Да, вдруг встретилась глаза в глаза с кем-то удивительно знакомым.

Лишь спустя секунду пришло сознание: это я, сама...

Как ни странно, до сих пор помню: на лице моем не было ни отчаяния, ни горя, ни ужаса. Ничего. Обычное, даже, я бы сказала, спокойное лицо, и только, если вглядеться, в глазах застыло что-то тревожное, затаенное. Или мне это просто так казалось?

Я вернулась домой поздно, в десятом часу вечера. Еще стоя за дверью, я услышала мамины торопливые шаги. Мама с силой распахнула дверь, увидела меня, зарыдала, потом обняла меня, оттолкнула от себя, снова залилась слезами.

— А я уже не знала, что и думать,— сказала.

В дверях нашей комнаты стоял отчим, одетый в теплый халат, с завязанным шерстяным платком горлом.

— Я уверял маму, что ничего с тобой не случилось,— сказал он, облизывая свои по-женски пухлые и яркие губы.— В крайнем случае пошла куда-нибудь с ухажером, что, нет?

Узенькие глазки его гадко сощурились.

— Не знаю, как кто,— обернулся он к маме,— а я лично уверен, что у нее есть уже ухажер, да и не один, наверно!

— Будет тебе,— сказала мама.

Она вышла на кухню подогреть чайник. Я сказала отчиму, не глядя на него:

— Вы же знаете, что я никогда ничего ей не скажу...

Он спокойно согласился:

— Знаю...— И засмеялся.

— Чего ты смеешься? — спросила мама, войдя в комнату.

— Так, ничего, вспомнил одну смешную штуку.

— Какую штуку? — спросила мама.

Он засмеялся еще громче.

— Ну, Ляля, расскажи маме, пусть она тоже посмеется вместе с нами...

Я повернулась, побежала в ванную и долго сидела там в темноте, прижав кулаки к щекам, широко раскрыв глаза.

Не знаю, сколько бы я просидела там, если бы кто-то не начал дергать ручку ванной — квартира у нас была большая, густонаселенная, и места общего пользования не разрешалось занимать чересчур долго...

Он заболел вскоре после окончания войны. Врачи определили — сердечная астма, осложненная быстро развивающейся водянкой.

Он лежал в постели, огромный, с раздутым водянкой животом, багроволицый, дышал тяжело и часто, будто взбирался на высокую гору.

Я училась на последнем курсе института. Само собой, приходилось много готовиться к занятиям, но надо было помогать маме.

Я делала все, что могла: ходила в аптеку за лекарствами, вызывала «Скорую помощь», дежурила возле него ночью, чтобы дать отдохнуть маме, даже научилась делать уколы.

Он был капризный, постоянно брюзжащий, вечно всем недовольный. Случалось, ему почему-то не нравилось молоко, которое мама подавала ему, и он отталкивал стакан своей отечной рукой с туго натянутой блестящей кожей.

Я кипела, едва сдерживаясь, а мама словно бы ничего не замечала. Ее, бесконечно терпеливую, невозмутимо спокойную, казалось, невозможно было вывести из себя.

— Хорошо,— весело говорила мама, собрав осколки разбитого стакана и тщательно вытерев пол.— Не хочешь молока — не надо. Как ты относишься к киселю?

Отчим сердито сопел, а мама продолжала:

— У меня на этот раз получился божественный кисель. Давай я тебе налью чашечку?

— Ладно,— снисходительно бросал он.

Внезапно он начинал кашлять, задыхаться. Его



большое, распухшее от водянки лицо покрывалось бурым румянцем, выпученные глаза слезились.

Мама садилась рядом, брала его руку в свои ладони.

— Сейчас пройдет,— утешала.— Потерпи еще немножечко...

А он хрипел и задыхался. Потом впадал в забытье, откинувшись на подушку.

Я старалась преодолеть невольно возникавшую к нему жалость.

Даже в самые тяжелые приступы, которые одолевали его, даже тогда, когда он хрипел, исступленно кашляя, я настойчиво уговаривала себя: мне не жалко его. Не должно быть жалко!

Но порой вдруг странное, непонятное чувство охватывало меня, он задыхался, открыв рот, я же ловила себя на том, что мне больно за него, за его смертные, должно быть, непереносимые муки.

Мой разум восставал против меня, призывая на помощь ставшие далекими воспоминания, которым суждено никогда не исчезнуть из моей памяти.

Тогда мне становилось жаль, но не его, а маму. Иной раз я жалела даже сама себя. Ведь у всех моих подруг были нормальные семьи, и только у меня одной была самая настоящая драма в семье, драма, о которой никому не скажешь, ни с кем не поделишься.

Много лет прошло с той поры. И хотя я изо всех сил оберегала от мамы эту постыдную тайну, все-таки не могу с уверенностью сказать, что она ни о чем не догадывалась. Потому что был один случай, так и оставшийся для меня неразгаданным; я не раз возвращалась к нему мысленно, пытаясь понять, в чем же там дело, но так и не поняла ничего.

Помню, пришла я из школы. Тогда я училась в девятом классе, уже вступила в комсомол, у меня было множество общественных нагрузок, и обычно я возвращалась из школы поздно.

А тут пришла раньше обычного и остановилась: мама сидела за столом, закрыв лицо обеими ладонями. Плечи ее вздрагивали. Я бросилась к ней:

— Мама, что с тобой?

Она не ответила мне.

Я обняла ее. Она отвернулась от меня, всхлипывая, и вдруг показалась мне такой беззащитной, потерянной. Сердце мое упало.

Я привыкла бояться одного: что мерзкий секрет из тайного станет явным, так или иначе мама узнает все, и это разобьет ее сердце.

А может быть, подумала я, отчим сам все рассказал маме, решив уйти к Аглае?

— Скажи, что с тобой? — настойчиво допытывалась я, но мама не отвечала.

— Зачем тебе знать? — наконец спросила она, всхлипывая и по-прежнему закрыв лицо руками. В этот самый момент вошел отчим.

Он тоже (надо же, чтобы все так совпало!) вернулся раньше обычного с работы. Быстрым взглядом окинул маму, меня, спросил торопливо, я безошибочно ощутила испуг в его голосе:

— Что такое? Почему мама плачет?

— Не знаю,— ответила я.

Он покраснел, потом резко побледнел. Была у него такая особенность: заливаться румянцем и вдруг быстро бледнеть.

Глянул на меня, глаза его вспыхнули яростью.

— Это ты маме что-то сказала? Да, ты? Маня, не верь ей, ни одному ее слову не верь!

Он кричал, все сильнее повышая голос, а я, помню, подумала:

«Зачем он выдает себя? Ведь на воре шапка горит...»

Странное дело, все же я чуть-чуть успокоилась: нет, он по-прежнему хранит свою тайну и не собирается бросить мою маму, чтобы перейти к Аглае.

Мама молчала, все еще закрыв лицо руками. Я сказала:

— Я пришла из школы, вижу, она плачет. Я ее спрашиваю, почему она плачет, а она ничего не говорит.

До сих пор помню, как я с надеждой глядела на отчима. Да, я знала все и привыкла страдать за маму и в то же время ждала от него нужных слов, надеясь, что он успокоит маму.

Что с меня было взять? Ведь мне тогда еще не исполнилось шестнадцати...

Но отчим все еще не верил мне, а не веря, решил как-то нейтрализовать все то, что я, по его мнению, могла наговорить маме.

— Теперь мне все ясно,— сказал он, и маленький рот его стал узким и длинным.— Все ясно, это ты из-за нее так убиваешься, Маня, из-за этой противной девчонки, она что-нибудь такое натворила? Правда? Или ты про нее узнала что-то отвратительное, верно?

Мама ничего не ответила ему, и он продолжал:

— Я тебе скажу по правде, я не удивился бы, если бы узнал, что у нее есть любовник...— Говоря так, он торжествующе глянул на меня и повторил еще раз: — У нее есть любовник, верно?

Мама подняла голову, сказала:

— Будет тебе, перестань!

Но он все еще пытался дознаться до истины, а потому не хотел сдаваться.

— Нет, в самом деле. Это ты из-за нее расстроилась? Говори, из-за нее?

— Нет, не из-за нее,— ответила мама.

Я вышла из комнаты, и он вышел вслед за мной. В коридоре он схватил меня за руку.

— Ну, говори, дрянь, что ты там такого наболтала?

— Ничего,— сказала я.— Мама ничего не знает от меня.

— А от кого?

— Что от кого?

— От кого она знает? — спросил он.

— Не знаю. По-моему, ни от кого.

Он пожевал губами и — о первозданный эгоизм, который привык ни с кем не считаться! — спросил:

— Ты, правда, ничего ей не говорила?

— Ни слова...

Сколько лет прошло с того дня, однако мне все ясно помнится, так ясно, словно это случилось вчера. Но до сих пор не пойму никак, почему мама тогда плакала.

Она мне ничего не сказала и отчиму тоже не призналась ни в чем. Может быть, это было предчувствие, что не все ладно в ее доме? Или кто-нибудь что-то все-таки брякнул? Не знаю.

Впрочем, и не пыталась узнать. А теперь это уже и вправду ни к чему.

Аглая уже не жила в нашей квартире. В войну она эвакуировалась куда-то на Урал, да так и осталась там. И мы не знали, жива ли Аглая или давно уже умерла.

Некоторое время от нее каждый месяц поступали деньги — она платила за свою комнату в домоуправление, потом деньги перестали приходить.

Мама иной раз спрашивала:

— Если бы знать наверняка, что с Аглаей.

— Зачем тебе? — удивлялась я.

— Может быть, ей надо чем-нибудь помочь...

Однажды я резко сказала:

— Не наше это дело.

— Какое дело не наше? — спросила мама.

— Думать обо всех и всем помогать.

Мама сказала непривычно сухо:

— Мы не можем и не должны так говорить!

— Кто это мы?

— Мы — это люди,— ответила мама.

Боже мой, как трудно было мне удержаться, не выложить все как есть. А до чего ж хотелось! До чего ж хотелось...

Мама не могла не жалеть, не сочувствовать тем, кто нуждался в сочувствии и в жалости. Она не желала, да и совсем не умела пройти мимо, отмахнуться от чужой беды, надеть на себя спасительную броню равнодушия.

За что же ей, такой душевной, по-настоящему отзывчивой, детски доверчивой, выпало тяжкое горе быть обманутой, преданной самым любимым, самым главным человеком ее жизни?

Бабушка однажды сказала:

— Счастье в незнании.

Позднее я поняла: бабушка думала о маме, только о ней одной...

Неужели она была права? И счастье действительно в незнании?

...Он не хотел умирать. Всю жизнь панически боялся смерти. Не любил говорить о болезнях, вспоминать умерших. Должно быть, считал, что смерть не может его коснуться. Во всяком случае, полагал, что **это** случится очень нескоро, в глубокой старости.

Но ему суждено было заболеть неизлечимой болезнью сердца в сравнительно нестарые годы, что-то около шестидесяти.

Сперва он не желал верить, что болен серьезно. Храбрился, уверял, что все это пустяки, простуда бронхов, что все скоро пройдет. Говорил он вовсе не потому, что жалел маму, хотя и знал, как она страдает за него, за малейшую его боль. Это все он говорил, одержимый одной лишь неукротимой, беззаветной, самозабвенной любовью к самому себе.

Уже опрокинутый болезнью на обе лопатки, он стонал, задыхаясь, исходя потом:

— Что делать? Спаси меня, слышишь? Спаси!

— Хорошо,— говорила мама.— Я постараюсь, я все для тебя сделаю...

Он вглядывался в нее, как бы завидуя неистощимому ее здоровью, ровному дыханию, блеску глаз, потом злобно шипел:

— Тебя бы на мое место...

— Хоть сию минуту,— отвечала мама.

Она не лгала, не притворялась. И он знал: она готова в любой момент взвалить на себя все горести и страдания, которые обрушились на него. И так же знал, что она никогда не рассердится на него, что бы он ей ни сказал. Все простит, каждому слову найдет оправдание.

Однажды, когда мама ушла в аптеку за кислородными подушками, ему стало плохо. И я испугалась: вдруг мама уже не застанет его в живых?

Он побледнел, посинел, прерывистое дыхание едва прослушивалось, в горле его все время что-то клокотало и хрипело.

Я бросилась за соседкой.

Соседка — я привыкла с детства звать ее тетя Аля — пришла, глянула на отчима и тоже испугалась.

— Вроде кончается.

— Нет! — воскликнула я.— Он не может кончиться!

— Как не может? — спросила тетя Аля.— Скорей бы уж. Сам мучается, глядеть страшно, и вас обеих замучил...

Но я уже не слушала ее. Быстро сунула ему в рот две таблетки нитроглицерина, потом метнулась на кухню, схватила чей-то чайник, стоявший на плите, налила горячей воды в грелки, одну приложила к ногам отчима, другую положила на его руки.

Прошло минут пять-шесть, что ли, щеки отчима медленно порозовели, он перестал хрипеть, открыл глаза. Спросил:

— Который час?

— Начало шестого.

— А мама где?

— Скоро придет.

Тетя Аля подошла ближе к кровати. Спросила нарочито весело, как обычно говорят с неизлечимыми больными:

— Как дела, Василий Матвеевич?

Он долго, надрывно кашлял, прежде чем ответить:

— Сами видите, бронхит разыгрался...

Врачи уверили его (по настоянию мамы), что у него запущенный бронхит, от которого он непременно со временем избавится.

— Поиграет да перестанет,— сказала тетя Аля.— Скоро мы с вами в парк культуры поедем, на чертовом колесе прокатимся!

— Надеюсь,— прохрипел он, а тетя Аля заторопилась уйти, потому что я видела: ей тяжко глядеть на него и говорить с ним.

Я согрела чайник, принесла ему стакан крепко заваренного чаю с лимоном.

Он приподнялся на подушке.

— Боюсь, вдруг стакан не удержу...

Я взяла стакан и стала поить отчима чаем с ложечки.

Он шумно тянул в себя горячую, почти огненную жидкость.

— Вкусный чай какой...— Поднял свою тяжелую, налитую водой руку, тихо погладил меня по плечу. Внезапно спросил: — Небось, устала?

Признаться, я удивилась. И не сумела скрыть своего удивления: он был всегда эгоистичен, ни о ком никогда не думал, кроме как о самом себе.

Он понял, почему я удивилась.

— Ты не сердись, я ведь от души спрашиваю.

— За что мне на вас сейчас сердиться? — спросила я, невольно выделяя слово «сейчас».

Он ничего не ответил, откинулся на подушку, закрыл глаза.

Когда пришла мама, он встретил ее улыбкой:

— Наконец-то! Я уже соскучился...

Непривычная к ласковому обращению, мама обрадовалась, глаза ее просияли, и она вдруг разом помолодела.

Я смотрела на маму и думала, что мама не простила бы прежде всего себе, а потом мне, что вот она ушла и он в это время умер. И я была в этот миг очень довольна, что сумела отстоять его, выцарапать у смерти...

— Как ты себя чувствуешь? — спросила мама.

— Хорошо,— ответил отчим.

— Правда хорошо? — переспросила мама.

— Хорошо,— сказал он, но вдруг голос его дрогнул, лицо покрылось синеватой бледностью.— Мне плохо,— пробормотал он. Мама мгновенно поднесла к его рту край от подушки с кислородом. Он подышал, успокоился, даже улыбнулся.— Словно в лесу погулял...

И она, моя мама, так обрадовалась, услышав эти слова.

Он умер зябким и хмурым февральским утром. Я была в институте, а у нас гостила бабушка; в то утро отчим меньше задыхался, хорошо позавтракал. Мама с надеждой говорила:

— Теперь я верю, он, конечно же, поправится...

По дороге из института домой я зашла в аптеку. Надо было купить нитроглицерин и бромистую камфору для отчима, а для мамы — какие-нибудь снотворные таблетки, чтобы она хотя бы немного спала ночью.

В коридоре нашей квартиры мне навстречу выбежала тетя Аля.

— Что? — только и спросила я, глядя в ее встревоженное лицо.

— Все,— ответила она.— Все, все...

Я бросилась в нашу комнату. Мама сидела у кровати отчима, возле нее стояла бабушка, положив руку на мамино плечо.

Мама не отрывала глаз от него. Он лежал грузный, сине-багровый. Глаза его были закрыты, губы плотно сжаты.

И так необычно было видеть его совершенно спокойным, недвижным, странно было, что он не кашляет, не стонет, не задыхается...

Я обняла маму, она не шевельнулась, продолжая все так же пристально, с какой-то тихой яростной одержимостью вглядываться в мертвое лицо отчима.

Я тоже смотрела на него. Мы обе думали об одном и том же — о нем, но мысли наши резко отличались.

Мне вспоминались безрадостные годы моего отрочества и ранней юности, ложь, омрачавшая жизнь, упрямое мое молчание, и боль, и горечь, и нестерпимая, постоянно грызущая обида за маму, и его несправедливость, и жестокий садизм, преисполненный сознания своей безнаказанности...

А мама, глядя на него, должно быть, полагала, что и ее жизнь кончилась вместе с его существованием, потому что ушел самый любимый человек, который был ей дороже всех на свете, кому она всегда беспредельно верила.

Мне кажется, самое тяжелое для меня в эти дни было слушать, как мама убивается по нему и находит все новые слова для его восхваления.

Но я так ни одного слова и не сказала маме. Ни тогда, в день похорон, ни впоследствии, позднее. И бабушка умерла, не сказав маме ничего.

А мама до последнего своего часа ездила к нему на могилу, часто вспоминала о нем, каждое ее слово жгло и немилосердно язвило меня, но я держалась, я все-таки молчала. Я знала, что не имею права лишать маму иллюзий. Пусть они, эти ее иллюзии, на всю жизнь останутся с нею и будут ее греть. Должно быть, с ними ей теплее и легче...



Олег Чухонцев



Прощанье с давними тетрадями,

или Размышленья
перед трескучей печью
и бутылью домашнего сидра
в старом деревянном доме
в Павловском Посаде,
где автор родился.

(Отрывок)

Боюсь не вздора, а рутины,
что ни начну, то с середины
и кончу, верно, чепухой.
Не знаю, время или возраст,
но слышу я не лес, а хворост,
не славий щелк, а хруст сухой.

Пора проститься со стихами
и со вторыми петухами
(а третьи сами отпоют),
с ночными узкими гудками,
с честолюбивыми звонками
под утро, когда их не ждут.

При свете дня яснее проза:
сигнал ли зоркий с тепловоза —
предупредительный гудок
иль родниковый бульк хрустальный,
как позывной второй сигнальной —
в бутылях забродивший сок.

А в общем, для чего детали,
когда глаза не суть видали,
а то, что виделось глазам,
в чем опыт думал убедиться,
и не кивай на очевидца,
который верит: видел сам.

Смотрел — а видел луг да ели,
когда торфа под ними тлели,
или прозрел как тот герой,
кто меж печатными строками
читал духовными глазами —
и я так пялился порой.

О где он, хищный глаз поэта
и голос певчий! Песня спета.
А с веком спорить не резон.
Спроси собратьев для начала,
давно ли Музу выручала
двойчатка: зал и микрофон!

Пусть их! Пора расстаться с бредом,
с двойным — орлом и Ганимедом —
полетом вечного пера
и пересесть за стол с кровати
(оно для лежебоки кстати)
за Rheinmetall засесть пора.

Одна беда: садясь за прозу,
не тяпнешь водочки с морозу
под малосольный огурец.

— Позвольте, где зима, где лето! —
одернет критик, а с поэта
и взятки гладки, наконец.

Не говорю уж о комфорте:
когда в ударе — хоть на черте
езжай — и тряска нипочем.
Не тяжек путь: ухаб ли, кочка,
ты в форме! — Так найдется строчка,
а с ней и улица — твой дом.

А кстати кое-что о форме:
она не обувь на платформе,
а безразмерные носки
и важно (слог для пародиста),
чтоб было в ней легко и чисто
и меньше пота и тоски.

. . . .

Дудел и я на той жалейке,
хотя, по счастью, и копейки
не накопил, и сладкий сон
не бередит воспоминанья,
как будто на предмет изданья
звонит редактор... Где же он!

Простимся с бедными мечтами,
и пусть токуют в фимиаме
соперники по ремеслу,
а мы, как в тульской поговорке,
и от махорки будем зорки,
покурим под шумок в углу...

А впереди такие сроки,
такие дальние дороги,
по осени такая тьма —
что и не стоит... Бога ради!
Опустишь голову в тетради,
поднимешь — а уже зима.

Зима, и жизнь опять вначале,
и там, где яблоки стучали,
трещит морозец молодой,
струится дым, играет холод,
глядишь — а ты уже немолод
и лед звенит в ведре с водой.

А вдалеке гудок прощальный,
все тот же — долгий, инфернальный —
и синий-иссиня снежок.
Ведро поставишь ледяное,
стоишь — и голос за спиною:
— Ты что-то мешкаешь, дружок.

— Да-да, конечно, извините,—
я уступаю, но в обиде
седой от инея, как дед,
гляжу в вечерние потемки,
а там ни дыма, ни колонки.
Как говорится, наших нет.

Такая бестолочь, однако!
Завыла на дворе собака
вниз головою, говорят.
Чур нас! — раздвинем половицы
и вниз сойдем, где сидр хранится
и зеленеет маринад.

Не так ли, высветив бутыли,
и Дант с Вергилием сходили
на круги ада с фонарем.
Не так отнюдь! За трезвым сидром
одни, без многих, сядем сиднем
и всех во здравье помянем.



Владимир
ОГНЕВ

НЕ ТОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЯ...

Я не могу забыть того ощущения внезапной тишины, которая наступила во время шестого съезда писателей СССР, когда председательствующий Николай Семенович Тихонов попросил почтить минутой молчания память ушедших от нас писателей... Это была как бы тишина в тишине. И чей-то вздох в конце длинного-длинного списка. Вздох, который услышали многие...

А фамилии, названные Н. Тихоновым, были лишь небольшой частью печальной череды имен, о которых давно уже говорилось в прошедшем времени,— речь шла только о последнем пятилетии... А если говорить о десятилетии? Двух десятилетиях?

И я стал вспоминать только тех из моих учителей и творческих наставников, кто оживал в обострившемся сознании особенно явственно, кто оставался не только словом в книге памяти, но жестом, тембром голоса, цветом глаз, живыми приметами, привычками, поступками, человеческими характерами, силой и даже своей слабостью... Мне посчастливилось знать многих, с некоторыми из больших писателей дружить, с иными просто встречаться, говорить, наблюдать их в работе и жизни.

Б. Пастернак, К. Чуковский, С. Маршак, Н. Асеев, И. Сельвинский, В. Луговской, Я. Смеляков... Да только ли они?

Есть два рода воспоминаний. Одни — документальные, основанные на верной памяти пера и бумаги — всегда предпочтительнее. Увы, мы все крепки задним умом; спохватываешься поздно: многое утекает со временем; бесследно канули и мои впечатления от ряда бесценных встреч с выдающимися писателями; не записанные вовремя, сегодня они грешили бы непростительной в таком деле приблизительностью. Этот второй род воспоминаний, мне кажется, способен принести больше вреда, нежели пользы. И чем бы ни руководствовался человек, полагающийся на давние свои впечатления и чувства от встреч с интересными личностями, объективно он способен замутить образ своего героя, повести нашу общую память по ложному пути. Я уж не говорю о дурных намерениях — нескромности пишущего воспоминания, любителях «сфотографироваться» на фоне великих, о других случаях искажения благородного дела сохранения памяти достойных людей — наших современников.

Честно говоря, с удивлением читая, что имярек был ближайшим поверенным дум и тайн такого-то классика, а другой имярек едва ли не подсказал другому классику сюжет знаменитой поэмы, я не только краснел за своих коллег по перу, но и не раз зарекался выступать с «воспоминаниями» даже о тех писателях, которых знал преотлично. Однако наряду с мемуарами такого неблаговидного рода мне чаще приходилось читать и воспоминания иные, совсем непохожие, те, которые заставляли проникаться радостной благодарностью к их авторам. Те, которые открывали мне новые грани большого таланта, делали еще ближе и понятнее, а иногда и словно бы крупнее дарования людей, которых и я знал, да не настолько, оказывается, как мне это казалось. Те, которые сохранили для потомков рукописи и черновики стихотворений, наброски и планы неосуществленных книг, записали мысли писателей, их оценки книг и явлений окружающей жизни, донесли до многих объемный, так сказать, портрет личности, порою не до конца проявившейся при жизни или, наоборот, оставившей светящийся след, проекцию в будущее...

Нет, нравственный опыт поколений, передача литературных традиций, которые всегда в одно и то же время и литературные и нравственные, так как культура — это передача целостного опыта личности и времени, которое эта личность выражает, — передача этих традиций невозможна без общего нашего участия, общей, как сказал бы А. Твардовский, «поруки». И каждая крупица свидетельства о писателе значительном — наш скромный вклад в дело культуры, которая опытом своим непременно учит. Учит и на славных примерах, как говорится, достойных подражания. Учит и на примерах иного рода, ибо предостерегает от путей ложных, от заблуждений. Тут, как и везде, впрочем, действует суровый и честный закон жизни, один лишь ведущий к добру и достижению доброй цели:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Пожалуй, самым большим достоинством классиков, которых я знал, было самоотверженное служение делу своей жизни. Феноменальное трудолюбие это основывалось на сознании нужности своей для народа. Иногда кажется, что «запой» в работе — свойство скорее таланта, который «не может не писать», нежели явление общественного порядка. Так безыс-



С. Я. Маршак и дети.
Фото М. Трахмана. Публикуется впервые.

кусно и нерасчетливо само творчество, так безоглядна отдача художника, что нелегко поверить в нечто иное, в какую-либо «задачу», поставленную себе самим художником, или ему — «социальным заказом» общества, времени. Однако сложно и опосредствованно, но писатель «подогреваем» чувством долга, нравственным императивом своего человеческого, гражданского «я». Неудовлетворенность, жажда идеала, непримиримость к приблизительности, незавершенности сделанного, вечное самоусовершенствование и вечная потребность в движении — свойство в той же мере требовательного художника, взыскательного мастера, как и вообще личности, если она осознает свое место среди других людей как важное, значительное, от которого зависят судьбы других и общее дело. Так ставить вопрос вернее.

Вернее потому, что явление культуры нельзя выделять из общественной жизни. А судьбу художника абсолютизировать, «вынимать» из жизни остальных членов общества, из народной жизни. Творящая личность овладевает не только материалом — миром. Но в том-то и диалектика искусства и жизни, что художник в материале — комке глины, слове, звуке, пластике тела, краске — видит материю самой жизни. Вот почему трудолюбие художника — акт общественной активности, требующий высокого уважения, а уроки классиков нуждаются в изучении, наследовании. Гёте говорил, что художник должен «повышать свои требования к миру только по мере роста своих способностей», «блюдя осмотрительную скромность». Мысль поучительная. В ней я вижу намного опередившую время веймарского мудреца истину, истину, ставшую особо внятной лишь нашим дням, когда интересы каждого и общества в целом основываются на вкладе личности в коллективные усилия народа — по принципу «от каждого по способностям...». Сначала подумай о том, что ты дал людям, а потом уже требуй от мира совершенства, на которое ты рассчитываешь. И желательного тебе отношения мира к собственной персоне.

...С этой мысли, помню, начался у нас разговор с Самуилом Яковлевичем Маршаком 2 июля 1961 года в Коктебеле. «Разговор», правда, не совсем точное слово. Говорил Самуил Яковлевич. Я слушал.

Он задыхался, температурил, но раз Маршак прислал за мной посыльного, значит, он хотел говорить, а это значило: проверить только что написанное на слух или проговорить то, что еще готовилось лечь на белый лист бумаги. Быть может, не ладилось что-то, не складывалось как надо или было неясным...

Собеседник — я знал это — был для Маршака не обязательно интеллектуально самостоятельной единицей, без которой он затерялся бы в дебрях эстетических сомнений и вариантов мучившей его темы. Совсем нет! Он, правда, любил звать одних и не звал других. Но я особенно не обольщался и этим. Мне и сейчас представляется верным другое объяснение. Более простое. Маршак любил репетировать мысли на тех, кто попросту умел хорошо (в его понимании) слушать. Он смотрел в глаза, ловил отражение своей мысли в них, и этого ему было достаточно. Знал я и другие дни. Когда Самуил Яковлевич просил что-то рассказать, слушал внимательно, участвовал именно в беседе. Спорил или соглашался с тобой.

Но чаще, даже начав обмен репликами, он увлекался и говорил сам — уже до конца беседы. Может, отчасти так получалось и потому, что я, например, не мог позволить себе перебить Маршака или вставлять свои замечания, даже если мне хотелось оспорить сказанное или дополнить. Так было и на этот раз.

Мы сидели на террасе коттеджа № 18. Белая простыня, которою Маршак отгородился от солнца, надувалась от ветра и хлопала, словно парус. Он сидел в плетеном кресле, закутанный, несмотря на адскую жару, в плед, и держал в руках рукопись. То и дело отирал крупное лицо платком и задыхался. Рукопись к разговору отношения не имела. Она, помню, была о какой-то детской писательнице, точнее — о ее пьесах для детей. Маршак говорил, что автор — хороший человек и ей надо помочь. Он просто обмахивался этой рукописью, а говорил о другом.

Говорил о Гёте в связи с его мыслью о соразмерности требований художника к миру и осознанием своего значения среди других смертных. Он был раздражен, и я понимал, что тема имела, видимо, свою предысторию. Да, подтвердил Маршак, это верно, он читал рукописи молодых поэтов, которые все, как сговорившись, пеняли на окружение и окружающих. Выходило, что если бы мир был щедрее к ним, то они давно уже были бы там, на Олимпе. Маршак оглянулся на гору, видневшуюся сквозь заросли кустарника, и добавил:

— Там, голубчик, их не ждали...

Я посмотрел на синеватую вершину Сюрюк-Айя и кивнул в знак согласия.

— Они думали, что там им накрыт стол...

И вдруг Маршак засмеялся долгим, клокочущим в горле смехом, закашлялся, махая руками; вытер слезы и, продолжая кашлять, заговорил:

— Сейчас все думают о благополучии. Я родился в другое время. Из друзей Блока один женился на девушке... гм, довольно легкого поведения. Другой — на каторжанке. Третий покончил с собой. Я, понимаете, голубчик, я женился счастливо. Но на другой день вышел в сад, приставил револьвер к виску и нажал на крючок. Мое счастье, барабан не был провернут...

Маршак улыбается и качает головой, крупной своей седой головой. Потом — снова серьезный — продолжает:

— Вы заметили, голубчик, одно и то же слово, в зависимости от того, что оно значит, разное: «амур»,

любовь то есть,— этакое сдобное, кудрявое... А возьмите Амур, река,— суровое, жесткое, мускулистое, строгое, монгольское, вроде Тимур...

Я понимаю ход ассоциаций Маршака: от истории юношеской любви — к слову, ее обозначающему. Но поэтом уже владеет Слово... И Маршак увлеченно, горячо начинает рассказ:

— У каждого народа есть свои святые, грешные слова... Переводя Шекспира, я долго не мог справиться с сонетом... Помните, голубчик? — Маршак шевелит пальцами над головой, словно собирается почесать темя: — «чем недостойным слыть, уж лучше быть таким»... Примерно так. И только после того, как был поражен одним случаем, рассказанным мне, нашел я, голубчик, это слово. А случай такой: девушку обвинили в краже. Убитая горем, она шла через лес. Окно в одной даче было открыто. Никого не было. «Ух, коли меня считают воровкой, пусть я и на самом деле согрешу»... Слышите?

Коль грешным слыть,
им лучше быть...

Это русское слово «грешный» полностью покрывает и значение «недостойный» и «непорядочный»... Это, кстати, и о том, что я никогда не мог бы перевести того, чего сам не пережил, не прочувствовал...

В моем дневнике, на счастье, осталась и запись того, о чем говорил С. Я. Маршак на следующий день, 3 июля. Я был у него после обеда, с трех до половины шестого. Помню, что где-то в середине разговора поднялся по ступенькам террасы Александр Иванович Пузиков, главный редактор Гослитиздата. «А,— сказал Маршак,— не прерывая рассказа,— входите, голубчик, входите, садитесь...»

Вот отрывки из записей того дня:

— Блейк, умирая, горланил гимны так, что балки дрожали над головой. У него были могучие образы. Он гораздо больше Байрона, Теннисона... (Пузиков улыбнулся.) Да, да, голубчик, не улыбайтесь! Больше, больше! (И сердито замахал руками, закашлялся.)

— ...Лескова не люблю. Это первый русский формалист. Ювелирное изделие — всегда признак слабости духа. Когда Бенвенуто Челлини сделал огромную фигуру, о ней сказали: «большая статуэтка»...

— ...Я люблю светскость... Помните, у Пушкина:

Поговорим о странностях любви...

Маршак продекламировал эту строку с жестом, напоминающим расшаркивание пажа,— жест рукой до пола, поклон негнущейся шеи, сразу побагровевшей, кашель, но счастливые глаза и слезы — от напряжения — в них.

— Светскость! (Я спросил: «Вы имеете в виду легкость, непринужденность, естественность?»)

— Да. Но главное — он разный. (Засмеялся заразительно, озорно.) Потом пришли... бородатые. Я говорю: в каждой литературе есть «бритые», «бородатые». (Понимаю, как-то уже слышал от него: «бородатые» — это учителя, ригористы, мрачные, проповедующие — Успенский, Чернышевский, Щедрин, да и сам Толстой...)

— ...Был Чосер. Потом Теннисон...

Александр Иванович переводит разговор на русскую прозу.

Маршак:

— Больше всего я люблю «Героя нашего времени». Толстой, конечно, отсюда. Не от Пушкина и не от Гоголя, разумеется. От Гоголя разве что Достоевский.

Подумал, подышал шумно, продолжил гордо, почти торжественно:

— А какая разница между «Лиговской» и «Героем»! Жалкий лепет — «Лиговская». И сразу, с начала, там, в «Герое»,— какой верный тон, сила, сдержанность!

Потом о поэзии русской:

— У Фета и у Некрасова есть «блоковские» стихи. (Цитирует много, быстрыми, короткими, скороговоркой прочитанными кусками.) Он — странно, да? — примирил такие противоположности...

Потом о Твардовском:

— У Твардовского есть кожа... грубая кожа. Она была у Шекспира. Вот Надсон — человек, абсолютно ее лишенный... До Твардовского говорили о народе. Здесь заговорил сам народ. А это не шутка. Кто так скажет: «Ко мне работает плечом...»?

И Самуил Яковлевич, продолжая улыбаться — в этой влюбленной в Твардовского улыбке было столько добра и гордости,— стал смешно толкать одновременно полным своим плечом и локтем круглый дачный столик. Стакан с крепким чаем, давно холодным и затянутым морщинистой пленкой, качнулся, и рыжее пятно разбежалось по рукописи. Маршак машинально пальцами смахнул каплю, отскочившую на край скатерти, потом поднял книгу, только сейчас увидев, что к ней подтекал пролитый чай, и... и на лице его отразился прямо-таки ужас: Маршак не мог представить себе п о р ч у к н и г и! Он некоторое время держал ее на весу, потом осмотрел внимательно и положил осторожно на край плетеного лежака, покрытого простыней. Я посмотрел на обложку. Это был Пушкин. Томик с закладками. Томик из полного собрания сочинений.

— При Пушкине,— перехватил мой взгляд Самуил Яковлевич,— была высокая культура книги. Тогда понимали, что на одной странице не может быть много стихов.

Я посмотрел на А. Пузикова. Он кивал Маршаку в знак согласия.

— Они давят друг на друга! — как-то жалобно прошептал Маршак.

(А ведь верно: в стихе и так все крупно, укрупненно. Как на экране хорошего кинофильма, надо успеть прочитать образ...)

— Бумага! — выдохнул А. Пузиков. Книгоиздатель побеждал в нем литератора на наших глазах.

— Давят,— еще более жалобно и укоризненно, но и не без упрямства простонал Самуил Яковлевич, словно от А. Пузикова лично зависело решение этого вопроса.

...Я привел только некоторые из высказываний С. Я. Маршака. Были в памяти и другие встречи, но почему-то особенно запомнилась эта, непроизвольно проявившая личность одного из крупнейших наших деятелей культуры, самозабвенно любящего слово, книгу, призвание писателя.

У Владимира Александровича Луговского есть такая запись: «Мы набиты впечатлениями. Они просто спрессованы в нас, так их много».

Когда мы говорим о пользе для молодого литератора школы жизни, мы порой забываем добавить важное слагаемое: умение «прессовать» впечатления так, чтобы они сохранялись надолго и были, так сказать, доступны для «расконсервирования». Талантливый человек отличается от неталантливого и этим умением «упаковывать» и «распаковывать» впечатления жизни. Конечно, при прочих равных условиях много повидавший, как говорится, потертый жизнью человек больше и способен поведать людям. Но только при одном условии: умении чувствовать, понимать, а в конечном счете просто в и д е т ь.



В. А. Луговской.

Жизнь подарила Луговскому много дорог. Жара пустынь, тревога неспокойных и близких границ, басмаческие налеты, первые тракторы среди кетменей, резкий слом родовых отношений в кишлаках Средней Азии. Вот в душистой ночи под Иолотанью Луговской слышит страшную весть о выстреле Маяковского, вот он скачет долиной Сумбара рядом с милиционером Нури, вот в Чарджоу читает Н. Тихонову первое стихотворение из будущей книги «Большевикам пустыни и весны», вот Луговской выступает на суде в защиту влюбленных, добровольно взяв на себя миссию адвоката, вот, наконец,— от великого до смешного один шаг! — на представлении бродячего цирка Луговской удостоверяет подлинность «удава» в халтурном номере факира... потому что усталым и наивным зрителям так хотелось верить в мужество и искусство артиста! И все-все это потом отразится в его стихах — деталями, красками, ассоциациями... Недаром писал он: «...Последним напряженьем воли возьму в себя молочную луну, посеребренное морское поле, далекий звон и эту тишину». Взять «в себя» — значит сделать своим. Своим образом, стихом, своей картиной мира.

Я вспоминаю кабинет поэта. По стенам развешаны шашки, пистолеты, кинжалы, а карабины, винтовки стоят, прислоненные к книжным шкафам... Божки, боги, тотемы из разных стран. И Будда, и Шива, и Христос. И греческая амфора на столе. Гравюры. И, главное, книги. Книги всех времен и народов, на многих языках. Книги с закладками — по философии, военному делу, кораблестроению, спорту. Горка остро отточенных карандашей — страсть Луговского.

Он знал много и неожиданно — разное. Он помнил цвета и рисунки флагов всех государств, гимны (однажды он около часа пел их на разных языках!), он знал тайну светящихся облаков, форму разных полков, которую носили в русских войсках в разные времена, местонахождение могил великих людей... Кто-то вспоминал, я помню, его рассказ о том, как гроб композитора Грига качается на железных цепях в гроте скалы, нависшей над морем... Кое-что тут было от фантазии. Но основа знаний Луговского, его жадность к самим знаниям — вне всяких сомнений. Читаю запись некоторых бесед. Вот имена людей, о которых он говорил интересно и глубоко судил их творчество: Валлотен, Уитмен, Лесков (кстати, в отличие от Маршака Луговской высоко ценил этого писателя, особенно его язык), Костер, Хемингуэй...

Если Маршак в области культуры, точного и широкого знания ее, быть может, и превосходил других своих современников, то такие поэты и писатели, как Луговской, Сельвинский, например, наряду с несомненной начитанностью покоряли своей неуемной непоседливостью, размахом горизонта жизненных наблюдений, окоемом далей, которые раскрывались перед ними во время бесконечных путешествий...

Вдумаемся только в некоторую канву фактов биографии Ильи Львовича Сельвинского. Юношей-гимназистом уже начинает он свой дерзкий и неспокойный путь скитаний и риска. Рыбак, истопник, борец в цирке, потом боец красногвардейского кавалерийского отряда, служащий заготконторы, он совершает потом дрейф на борту «Челюскина» как журналист, проходит на собаках путь по льдам Ледовитого океана до Чукотки, работает на электроламповом заводе в Москве, охотится на тигров в Уссурийском крае... Война «мобилизует» Сельвинского, и он вместе с войсками Действующей армии проходит ее дорогами до самой Победы. А в послевоенные годы, узнав, что я еду на целинные земли с первым эшелоном комсомольцев, он, будучи серьезно болен, несмотря на запреты врачей и близких, уехал в Казахстан... «Старая гвардия не должна отставать»,— писал он мне в письме. Мы разминулись в степях Кокчетавской области. Когда стаял снег и проступили белые пятна солончаков, я видел следы вездехода, на котором Сельвинский проехал в глубинку, а в гостинице Кокчетава корреспондент «Правды» рассказывал мне о том, что Илья Львович писал ночами очерк о нравственном климате в первых поселках... Очерк этот не увидел света. Написан он был запальчиво, как всегда у Сельвинского, максималистски обгоняя время. Помню название: «Целина — не Клондайк!». Поэт гневно писал о том, что поиски приключений и психология коллектива иногда сталкиваются в ущерб романтике «высшего порядка», под которой он понимал героическое наступление на степь... Потом уже, в Москве, чертя карандашом сложные зигзаги своего маршрута, часто почти соприкасавшегося с моим, но так и не совпавшего ни разу, Сельвинский вспоминал свою знаменитую поэму «Улялаевщина», вздыхал, набычивался сильным своим телом спортсмена, сетовал, что дела мешают ему засесть, «переписать» все начисто...

Он и сделал это потом. Переписал «Улялаевщину», «Пушторг», «Записки поэта», «Командарм-2»... Я не

говорю сейчас о том, надо ли было это делать. До сих пор уверен, что история советской поэзии помнит и будет помнить те, давние, первые редакции. Дело в другом. В жажде труда, желании переписать не только книги — жизнь... Сельвинский был очень сильным человеком, но его постоянно жгло сознание невыполненности какого-то своего большого долга перед русской литературой. Все чаще такого рода записи находим мы и в его дневниках, которые после смерти поэта вдова Б. Я. Сельвинская предоставила мне для работы. Может быть, в этом рвении, в этом зуде переделок написанного сказывалось и то, что Сельвинскому—как никому, пожалуй, другому — много пришлось сражаться с критикой. Пока его «прорабатывали», он стоял на своем, а стоило утихнуть шквалу залпов, он сам постепенно погружался в сомнения... Не явно, понемногу, но соглашался, передумывал, искал с в о й собственный, не похожий на общий, но путь к истине объективной. Здесь он служил примером, к сожалению, редкого качества: любил искусство, а не себя в нем. Редкого, сказал я, но непременного для того, кто хочет быть серьезным художником. Повторяю, хуже ли, лучше было новое по отношению к старому — суть не в этом. Важно, что Сельвинский не останавливался на том, что сделано, хотел большего, искал, экспериментировал.

Он умер внезапно, хотя до этого перенес не один инфаркт. Поднял тяжелую пишущую машинку и понес на второй этаж. Умер, словно протестуя против настоятельной рекомендации врачей отдохнуть, не работать. Я листаю страницы его дневника...

Замысел пьесы «Искусство приобретать врагов». Прямой отклик на факт биографического характера. Пьеса не писалась: повод оказался не в рост идее. Некоторые замыслы остались не реализованными по другим причинам. Так, весьма оригинальный и полно развитый план сюжета поэмы «Путешествие Дон Жуана» просто не успел вырасти в произведение из-за болезни Сельвинского, закончившейся так трагически. В отличие от классических решений этой темы Сельвинский пытался решить ее в плане общественно-психологическом. Его герой — жертва «грубости» мира, в женщинах пытается найти созвучие своей тонкой душе, ранимой и скрытной.

Незадолго до смерти, как бы предчувствуя ее, Сельвинский много думает о проблеме смерти. Изобретает теорию бессмертия, по-детски верит в нее. Но толчок этот приводит к серьезному изучению темы. Он читает и перечитывает Лукреция, Эпикура, Декарта, Лейбница, Канта. Попутно продолжается многолетнее увлечение миром животных, рыб, птиц, растений. В дневнике записи: «Пчелы видят ультрафиолетовые и инфракрасные лучи», «Акулы должны двигаться, чтобы приток воды в жабры не прекращался». Записи о дельфинах. О том, как по-разному шумят деревья.

Заметки, связанные с замыслом романа «Юность», прозы поэта. В дневнике то и дело оправдание этой неистребимой жажды начала, беловика. Чувствуя, что впереди времени в обрез, он раздвигает время в прошлое, в обратную сторону. То, что было очень давно, например, живопись Рубенса, кажется ему написанной сегодня, и он удивляется, почему в картине «Персей и Андромеда» живописец «лишил сцену сексуальности»: Персей берет руку Андромеды (голой!), как француз, будто собирается прижать ее к губам. Сельвинский пытается связать поиски алхимиков с таблицей периодических элементов, перепрыгивая через века: «Ртуть стоит в таблице элементов рядом с золотом,— записывает он восхищенно,— ей не хватает всего двух нейтронов, чтобы стать золотом». Наивно и трогательно! Он торопится жить и



И. Л. Сельвинский.

живет щедро. Инфаркт следует за инфарктом, а он не сдается: «Тело построено не на принципе скаредной экономии, а на основе великодушного сверхизобилия» (проф. Кеннон)...

Таким Сельвинский был в своей жизни. Неосмотрительным, активным, нетерпеливым, нескаредным... Литературные «каноны да иконы» были не по его части. Таким, во многом «незаконченным», «черновиковым», с грузом замыслов остается он и нам — для изучения и выводов.

На последнем, шестом съезде писателей говорилось о том, что молодой писатель не может расти, если не станет дерзким и смелым в решении больших творческих задач. Это верно. Но ставить такие задачи по силам большой личности. И воспитать в себе смелость подхода к явлениям жизни и искусства может тот, кто растет сам, накапливает опыт активно и целеустремленно, живет полной жизнью, неуемно, без компромиссов и «выжидания своего часа». Твой час пробил с момента, когда ты взял перо в руку. Теперь многое зависит от тебя самого, молодой литератор, твоей воли, умения, твоей цели.

Опыт старших товарищей, наставников наших и учителей — не мертвый груз культуры.

Их книги, их мысли, их замыслы — как воплощенные, так и невоплощенные — наше духовное достояние. Как мы им распорядимся — это тоже свидетельство нашего уровня культуры, нашей позиции, нашего понимания долга перед будущим.

●





Борис
СЛУЦКИЙ

ВЕРНОСТЬ ДВАДЦАТОМУ СТОЛЕТИЮ

Вознесенский пошел в поэзию под овации Политехнического музея. 15 лет тому назад у его поклонников были сильные руки, зычные глотки и мгновенная благодарная реакция на рифму, остроту, метафору. Слушателям постарше иногда казалось, что этот «станок поэзии» временами обтачивает воздух, что в его душевности слишком много нервности. Но молодежную аудиторию Политехнического пленил сам станок. Это были молодые мастера и подмастерья, уверенные в том, что скоро станут мастерами. Они чувствовали своего, кровного, парня с Арбата, как отрекомендовывался им поэт. Кстати говоря, Арбат, по мнению некоторых,— самая традиционная и самая «интеллигентная» улица Москвы. Недаром Андрей Белый описывал ее дом за домом. Но это не самая длинная улица. И Политехнический, в сущности,— небольшой зал. Куда ему до Лужников! Но у него большая традиция. И хорошая акустика.

С тех пор прошло двадцать лет. Срок, достаточный для проверки, и сомнений, и восхищений. Вознесенский издал свою первую большую книгу, свое «избранное» («Дубовый лист виолончельный». Избранные стихотворения и поэмы, Художественная литература, 1975 г.). Избирают избранное многие: поэт, редактор, сама жизнь. Так или иначе перед нами книга итогов, пусть предварительных.

Думаю, что главный из итогов — верность XX столетию.

Наш век с его великими революциями — социальными и научно-техническими, но и с его кровью, с его грязью, с его рабочим потом, ставит перед крупным художником вопрос вопросов: принимать его или нет.

Вознесенский принял свое время.

Сначала казалось, что главным образом — в его внешности, в его терминологии, скорее как явление, чем как сущность.

Однако терминология не последнее дело в поэзии. Ведь термины— слова и поэзия — тоже слова. «Слова, слова...», как говаривал Гамлет, написанный, впрочем, множеством прекрасных слов.

Вознесенский шел от слов к делу, от явления к сущности. Видеть, ощупывать, слышать он научился очень рано. Нужен был зоркий глаз, чтобы 15 лет назад сказать об аэропорте — «реторта неона» и «апостол небесных ворот» и «озона и солнца аккредитованное посольство», и, может быть, лучше всего,— «стакан синевы».

Но уже тогда Вознесенский понял: аэропорт — его автопортрет.

Оговорившись по молодости лет эффектным афоризмом «все прогрессы — реакционны, если рушится человек», Вознесенский принял век аэропортов со всей страшной платой, которую приходится платить людям за право летать.

Сквозь его старое стихотворение постоянно просвечивает слово «невыносимо». Рецензируемая же книга — свидетельство силы поэта не только почувствовать невыносимость, но и вынести ее и воссоздать в стихе.

Противопоставление ранних и поздних книг Вознесенского — правильное. Он изменился. Но — в лучшую сторону: от радостного принятия мира вещей к напряженному вглядыванию в человеческую душу. Это сказывается даже в названиях его книг. Направление движения идет от «Параболы» и «Мозаики» к «Выпусти птицу!».

Однотомник проясняет вопрос о месте стихов Вознесенского на карте русской поэзии. Сам поэт вопрос охотно запутывает, производя себя от Василия Блаженного, Григория Неокесарийского и т. д. (см. предисловие к этой книге).

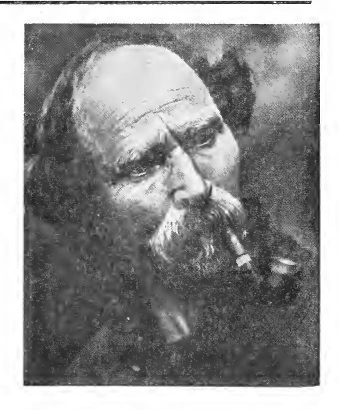
В действительности «Нео» Вознесенского совсем не кесарийское. Он последний по времени поэт круга Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Асеева, Кирсанова. Их называли «авангардом». Что ж, помимо однозначных значений, у авангарда есть и основное словарное значение — передовой отряд. Сами же поэты этого круга называли

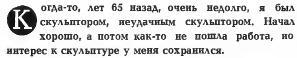


Виктор ШКЛОВСКИЙ

СТЕПАН ЭРЬЗЯ

(К 100-летию С. Д. НЕФЕДОВА)





Когда-то, лет 65 назад, очень недолго, я был скульптором, неудачным скульптором. Начал хорошо, а потом как-то не пошла работа, но интерес к скульптуре у меня сохранился.

А. М. Горький в беседе со мной (было сравнительно короткое время, когда он ко мне относился дружески, называл Виктором) показал мне на свои скулы и сказал: «Я мордвин. Мордовкой была моя бабушка». Горький описал ее, он видел эту старуху и она ему запомнилась не только как родственница, но как национальный тип.

Степан Дмитриевич Нефедов — Эрьзя родился в 1876 году в маленькой мордовской деревне Баево, Ардатовского уезда, Симбирской губернии. Отец его был бурлаком.

Волга текла против направления грузов, по Волге поднимали рыбу, соль, позднее нефть, а спускали по Волге меньше, спускали дерево. Шли баржи под тягой бечевников. Люди пешком по плохим береговым дорогам проходили всю страну от Каспийского моря до Питера. Эти артели бурлаков были описаны и Чернышевским, и Репиным, и Мельниковым-Печерским.

Это были люди, которые собирали фольклор с реки и переносили его в города. И хотя места, в которых родился Нефедов, совсем глухие, в лесу на маленькой речке, но в то же время это было на большой дороге, которая связывала племена и народы.

Отец приносил с бурлачества не только немного денег, но и много рассказывал. Бурлацкие ватаги были носителями фольклора, бурлаки знали сказок больше, чем человек, крепко сидящий в городе.

И вот жил в глухой деревне в лесу мальчик-мордвин — так нам рассказывал Эрьзя,— процарапывал по закопченным бревнам стены рисунки — изба была «черная».

Жил он в деревне, кругом — деревья. Из дерева все делается. Дерево режут на доски, распиливают на поленья, чурбаки. Чурбаки колют на мелкие куски, из которых вырезывают ложки, из кусков побольше точат балясы. Из этого же дерева делали идолов и, конечно, столы, табуретки. Дерево с его строением, разностью слоев было всегда перед глазами. К нему не нужно ехать, оно было рядом.

Количество вещей, которые делались из дерева, мы не перечисляем, некоторые уже забыты, а когда-то эти названия были у всех на слуху.

Эрьзя рассказывал, что однажды, когда было большое половодье и река Бездна вышла из берегов, льдины подошли к стенам избы, а отца не было дома. Избу заливало, тогда мать посадила детей в большое корыто, выплыла в корыте и спасла их.

Отец, видя склонность сына к рисованию, отвез его в город Алатырь и отдал в учение в иконописную мастерскую.

Мальчик из самого глухого села, очень талантливый сын очень заброшенного, упорного племени, зад-

На снимке: С. Д. Нефедов — Эрьзя.

внутого в самый глухой угол, нашел свое место в искусстве. Он имел то вйдение, которое имеет народ и человек, не забитый рисунками, книжками, календарями, кино, как мы сейчас забиты телевидением, он видит иначе мир — дерево, человека, воду, а кроме того, он видит иконы или роспись, но количество вещей вокруг него небольшое.

Когда С. Д. Нефедов — Эрьзя попал в Южную Америку, то он там нашел две древесные породы — квебрахо и альгарробо. Квебрахо — очень крепкое дерево, альгарробо — дерево упорное; породы эти привлекли его своими необычайными наростами. Он очень рано пришел к дереву как к материалу. Делал он наброски из глины, снимал с глины копию, потом стал рубить мрамор. Он пошел и по другой дороге, он резал дерево. Что это было, причуда или остаток язычества, дикарства? Можно сказать, что дерево в скульптуре становилось еще более деревом, чем когда оно стояло в лесу,— оно выделялось фактурой.

Имя Эрьзя — трудное имя, имя упорного мордовского племени. Он человек, прославленный своим восприятием мира. Хотели показывать его работы в музее в маленьком городе на Волге — в городе Алатыре, который мало кто знал, потом он попал в музеи Ниццы, Рима, Москвы, в город Саранск, конечно,— столицу автономной республики Мордовии, и распространился по всему миру.

Мир сейчас увлекается негритянской скульптурой. Эта скульптура не похожа на нашу скульптуру, и скульптуры разного времени не похожи друг на друга; по-разному можно любить искусство. Можно любить как раскрытие какой-то сущности, а можно любить как редкость, не имеющую ценности во всем мире искусства, а можно — как странность, экзотику.

Эрьзя очень рано прославился, но он прошел определенную школу. В 1901 году он приехал в Москву, здесь он поступил в знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Оно находилось на Мясницкой улице против почтамта, и там у Эрьзи были настоящие учителя: Касаткин, Пастернак, Архипов, Коровин, Серов, Трубецкой и Волнухин, которого мы знаем по памятнику первопечатнику Ивану Федорову, он стоит у Китайгородской стены.

Скульптура не передается словами — описанием. Скульптура не передается и не может быть целиком передана рисунком. Она ощущается внутренним напряжением человека, мускульным напряжением. Людям, стоящим перед Венерой Милосской, незаметно для них как бы передается ее осанка. Памятник Петру Первому передает ощущение преодоленной тяжести, ощущение смелости.

Скульптура — глубоко внутреннее искусство, оно обращается к мускулам и костям человека, к его весомости, но и к его духу.

Почему великий мастер скульптуры, решающий громадные задачи, С. Эрьзя, почему он брал дерево, странное, сучковатое, как бы скрученное, а Микеланджело работал в мраморе и мрамор обрабатывал сам? Он снимал с мрамора куски, слой за слоем, скалывал больше, чем могли бы сколоть два каменотеса по времени, в мраморе находя человеческое тело и человеческое переживание, открывая душу скульптуры. Микеланджело брал куски мрамора разные, иногда он брал бракованные куски, которые были испорчены. Такой кусок мрамора он взял для великой скульптуры «Давид». Для чего это было ему нужно? Причудливый кусок требует нового решения. Он как бы соперничает с канонами скульптурного изображения, его нужно преодолеть, а скульптура чрезвычайно канонична, ограничена. Она много раз повторяется, и в ней нужно новое сопротивление для того, чтобы решение не повторяло другого решения. И некоторые скульптуры Эрьзи — «Ужас», «Отчаяние», «Сосредоточенность» — как бы находятся в недрах дерева, причем это сопротивление заданной форме — это не формализм, это преодоление формализма, преодоление повторения.

Голова Александра Невского, великого воина, боровшегося со шведами у нас на Неве, великого политика, который может нападать и переждать момент нападения, эта скульптура сделана из тяжелого, крепчайшего дерева квебрахо.

Из другого дерева, альгарробо, сделан портрет Льва Толстого. Лев Николаевич сделан как бы в бурю, его борода торчит в сторону, волосы подняты. Он овеян тем, что Гоголь называл «грозной вьюгой вдохновения».

Женская голова «Казашки» сделана просто, ясно. Она как бы задана самой простотой.

Великий скульптор любил трудный материал так, как альпинист любит высокие горы.

Эрьзя всю жизнь мечтал сделать портрет Ленина. Опыты не удовлетворяли его. Эрьзя искал большую скалу, чтобы высечь из нее образ вождя революции.

Мечта о ленинской скульптуре была впереди.

Неизвестно местонахождение некоторых его работ о революции и революционерах.

Революционером в искусстве был и сам Эрьзя.

Жизнь Эрьзи была чрезвычайно трудной и странной.

Вот что я могу сказать по поводу замечательного мордовского, всесоюзного и всеевропейского скульптора С. Эрьзи. Он оставался с нами и тогда, когда был вне нашей земли. Он сражался за наши задачи, а не уходил от них. Это был великий ум, великий художник, великий воин нового искусства.

●



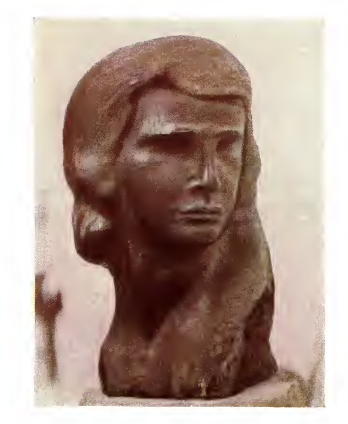
Мужество. 1932 г. (Дерево квебрахо).



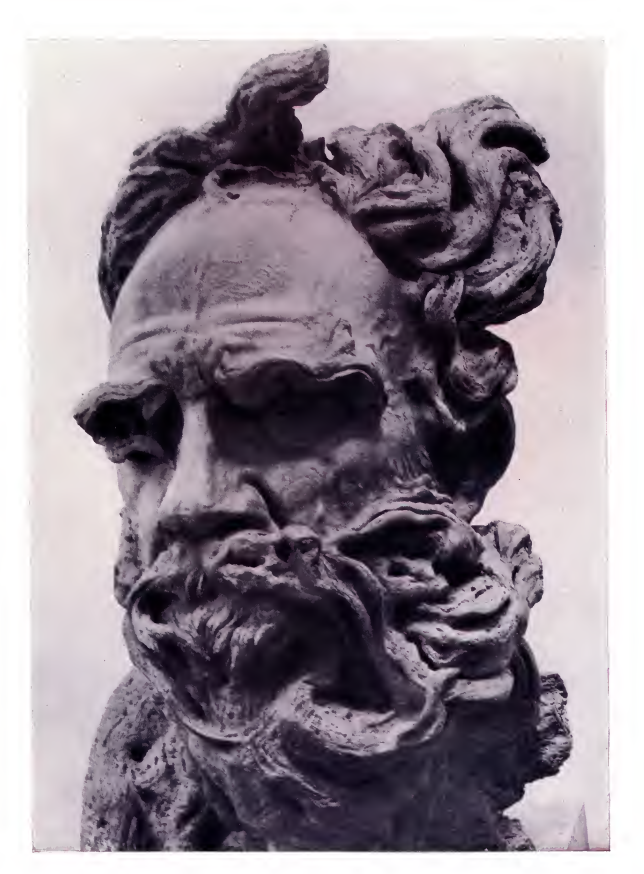
Портрет мордовки.
1915 г. (Металл).

Александр Невский.
1931 г. (Дерево квебрахо).

Женская голова.
1919 г. (Мрамор).



Боливийская революционерка.
1944 г. (Дерево квебрахо).



Портрет Л. Н. Толстого. 1930 г. (Дерево альгарробо).



З. ШЕЙНИС

МИССИЯ ЯНА БЕРЗИНА

Документальное повествование

1918-й год принес интервенцию, о вероятности которой предупреждал Ленин. 9 марта 1918 года в Мурманске высадился английский десант и оккупировал северные районы республики. В Архангельске было вскоре создано белогвардейское «верховное управление Северной области». Его главарем стал Николай Чайковский — тот самый Чайковский, который когда-то вместе с Марком Натансоном создал революционный кружок «чайковцев».

Ухудшилось положение и на востоке республики. Сорокатысячный корпус военнопленных чехословаков занял Самару, Симбирск, Казань.

Зарубежные газеты утверждали, что правительство Ленина пало. Полуправда чередовалась с дикими вымыслами. И здесь во весь рост встала задача, о которой Ян Антонович сказал на сессии ВЦИК:

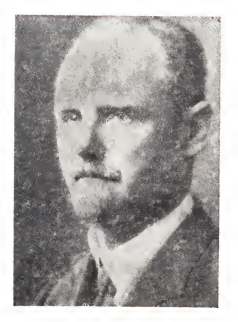
«Более важной работой нашей была работа информационная. Мы обязались от пропаганды политической воздерживаться и это условие выполнили... Но то, что мы имели право делать — информировать Швейцарию через другие страны о положении в России, о большевистской политике,— это мы делали и не могли отказаться от этого, потому что в этом был прямой смысл нашего представительства в Швейцарии».

Уже вскоре после приезда миссии в Швейцарию в Берне, Цюрихе, Лозанне и других городах начала выходить газета советской миссии «Нувель де Рюсси» («Русские новости») на французском, а затем на немецком и итальянском языках; здесь публиковались статьи о России, заметки о будничной жизни в молодой Республике Советов. Главными темами статей были проблемы мира и хозяйственного возрождения страны. Публиковались статьи Ленина, декреты Советской власти. Отдельным бюллетенем были изданы ленинское «Письмо к американским рабочим», другие важные исторические документы. Все это помогало разоблачать ложь и клевету об Октябре, служило хорошим подспорьем для друзей русской революции в разных странах.

В архивах я разыскал письма иностранных друзей-социалистов, адресованные Владимиру Ильичу. Вот отрывок из одного послания:

«Дорогой товарищ Ленин!

Большую радость мне доставила здесь встреча с товарищем Берзиным. Теперь западные европейцы могут, по крайней мере, получать информацию о положении в России. Она поможет и нашей газете «Трибуна», которую мы издаем в Голландии, а эта информация нам так необходима».



Ян Антонович Берзин.

Окончание. Начало см. «Юность» № 9 за 1976 г.

При помощи левых социалистов Берзин и его сотрудники организовали публикацию статей о Советской России в швейцарских газетах и добились распространения этих публикаций в сопредельных с Швейцарией странах — Франции, Италии, Австрии, Германии.

«Русское информационное бюро» выполнило еще одну важную задачу. В Москву не поступали иностранные газеты, радио не было источником информации. Литвинов, арестованный в Лондоне, уже не мог сообщать о настроениях в Англии. Советское правительство не знало, как европейский пролетариат реагирует на интервенцию. А знать это было крайне важно.

Берзин и его сотрудники стали ежедневно передавать по телеграфу в Москву обзоры европейской печати, и в первую очередь материалы о настроениях трудящихся в ведущих государствах Запада. Так Москва узнала, что в Англии, а затем и в других странах началось вошедшее в историю движение под девизом «Руки прочь от Советской России!».

Июль был тревожным, курьер все не приезжал. Утром просыпались с одной мыслью: что в Москве? Что с Владимиром Ильичем? Предполагалось, что в Берн приедет Покровский и, возможно, привезет письмо русских ученых — обращение к людям науки в Европе с призывом выступить против интервенции в России. Покровский не приехал, но в начале августа наконец прибыл курьер. Все собрались в кабинете Берзина. Ян Антонович вскрыл конверт, волнуясь прочитал:

«...За письма спасибо.
Работаете Вы, видимо, энергично. Привет!..
Здесь критический момент: борьба с англичанами и чехословаками, и кулаками. Решается судьба революции.

Ваш Ленин».

А через несколько дней пришло письмо Михаила Николаевича Покровского. И вот ответные письма Любови Николаевны:

«Берн, 20 августа 1918 г.
Мишенька, родной мой,
как ты мог видеть из моих писем от 12—13—14 августа, я уже поняла, что ты сейчас не можешь уехать — что это было бы дезертирством; всего тебе хорошего. Мишенька, сейчас, когда я пишу это, положение уже улучшилось; как-то дальше пойдет? Как было с Казанью — была ли она действительно в руках белых и... как же тогда? А Пермь как? Ответь на все это хотя бы намеками...»

И сразу же Покровская посылает письмо сыну, пусть знает, что происходит на его родине. Хоть мал он еще, но должен все знать. Она ему писала после эсеровского мятежа 6 июля:

«От папы пришло еще одно письмо, уже после борьбы против людей, которые недавно хотели снова пойти против большевиков; это им не удалось».

И вот теперь, в августе, она шлет весточку сыну в больницу:

«Вчера послала папе письмо с курьером. От него тоже скоро жду письма... А приехать он может только после того, как будет побеждено буржуазное войско, которое все еще пытается нападать на социалистическое правительство. Папа хоть сам не сражается пока, но помогает своим умом и добротой; и был бы дурной пример другим, если бы он в момент, когда много дела, вдруг бы уехал. А когда все обойдется и будет благополучно, он приедет. Так-то, сынок».



Любовь Николаевна Покровская

В те дни Ленин еще не знал о том, что его новые книги и статьи уже увидели свет в Швейцарии. Курьер отвез их Владимиру Ильичу, а вскоре пришел ответ Ленина:

«...Дорогой тов. Берзин! Пользуюсь оказией, чтобы черкнуть пару слов привета. Благодарю за издания от всей души...

Ваш Ленин».

P. S. Шлите по экземплярчику интересных газет... и новые брошюры, все и всякие: английские, французские, немецкие и итальянские...».

Через неделю в короткой записке от 20 августа Владимир Ильич после всяких приветов и некоторых указаний о работе просит прислать вышедшую во Франции книгу Анри Барбюса «Огонь» и ряд других изданий.

Ян Антонович писал в «Правде»:

«Все эти письма и записочки написаны рукой самого Владимира Ильича, им же написаны и адреса на конвертах (обыкновенно так: «Тов. Берзину, Русскому послу в Берне»).

Все они испещрены постскриптумами, подчеркиваниями — одной, двумя, тремя чертами, по большей части пером, иногда еще красным или синим карандашом. Каждая строчка в них дышит энергией и силой. Каждая страничка свидетельствует о том, какими пронизывающими, проницательными глазами он следит за всем, что творится на Западе, и с каким нетерпением он ждет и призывает помощь оттуда...»

Весной, вскоре после приезда в Швейцарию, туберкулез, мучивший Берзина с давних лет, резко обострился. Ян Антонович старался не обращать внимания на болезнь, писал Владимиру Ильичу, что не так уж плохо себя чувствует. Но к лету он совсем разболелся, и пришлось выехать за город в курортное местечко Зигрисвиль, неподалеку от Берна. Каждый день

к нему приезжали то Лейтейзен, то Черных или Валлециус. Ян Антонович ценил поражавшую даже его работоспособность, собранность молодых сотрудников, их умение разобраться в сложностях политической жизни.

Покровская получила весточку из Москвы, от Михаила Николаевича. И хотя было его письмо несколько запоздалым и уже произошли некоторые радостные события, но и оно беспощадно раскрывало правду:

«Пишу карандашом, ибо чернил нет, хватает только на адрес... А я по-прежнему раздираем на тысячи кусков: между комиссариатом... и романовскими бумагами [1]. О комиссариате я писал тебе достаточно — все тот же внутренний саботаж (до доносов друг на друга в Комиссию Дзержинского) или же бесконечные съезды и совещания — к слову сказать совершенно никчемные при данной внешней обстановке. Мне все чаще и чаще вспоминается заключительный стих крыловской басни «чтоб там речей не тратить попустому, где нужно власть употребить».

Теперь, когда англичане идут на Вологду, а чехословаки уже в Казани, более чем естественно, что «они выжидают», и только настоятельные напоминания... о том, что мы все-таки ближе англичан и чехословаков, могут заставить «их» слушаться. Взять обратно Казань и Екатеринбург—самое лучшее средство провести быстро и успешно нашу школьную реформу...»

В августе журнал «Социалистише Ауслапдсполитик» опубликовал статью Карла Каутского «Демократия или диктатура». «Правда» привела выдержки из этой статьи. В тот же день Ленин, еще не оправившийся после ранения, впервые диктует машинистке письмо для Берзина, Воровского и Иоффе. Ян Антонович замечает по этому поводу:

«Оно написано на машинке — должно быть, рука Владимира Ильича после покушения еще плохо работала. Только подпись и дата от руки, а также две вставки иностранными словами в тексте».

Письмо Ленина гневное, возмущенное:

«...Позорный вздор, детский лепет и пошлейший оппортунизм Каутского возбуждают вопрос: почему мы ничего не делаем для борьбы с ТЕОРЕТИЧЕСКИМ опошлением марксизма Каутским?.

Надо бы принять такие меры:

1) поговорить обстоятельно с левыми (спартаковцами и проч.), побудив их выступить в печати с принципиальным, ТЕОРЕТИЧЕСКИМ заявлением, что по вопросу о диктатуре Каутский дает пошлую бернштейниаду, а не марксизм;

2) издать поскорее по-немецки мое «Государство и революция»;

3) снабдить его хотя бы издательским предисловием...

4) Если нельзя быстро издать брошюры, то в газетах (левых) пустить заметку, подобную «издательскому предисловию».

Очень просил бы прислать (для меня особо) брошюру Каутского (о большевиках, диктатуре и проч.), как только она выйдет...»

Берзин выполнил просьбу Владимира Ильича. В Берне вышла в свет на немецком языке книга Ленина «Государство и революция» с предисловием, написанным в духе просьбы Ленина. Она была распространена в Швейцарии, в Германии, Австрии и других странах. А Берзин и его сотрудники сразу же начали готовить это издание на французском языке, и в своем письме от 25 октября Владимир Ильич уже спрашивает Берзина:

«...Когда выйдет французское издание «Государство и революция»? Успею ли написать предисловие против Вандервельде?»

В конце лета Ян Антонович попытался средствами кинохроники рассказать широкой публике о положении в Советской России, привлечь ее внимание к нуждам и проблемам революции. Задумал он это еще перед отъездом из Москвы и кое-какие фильмы захватил с собой, показал их бернской публике, а потом написал в Москву, просил прислать новые. Но замысел выполнить не удалось.

И вот еще одно письмо из Берна: от 15 сентября 1918 г.

«Родненький мой Мишенька,
пишу тебе дома, так как сейчас воскресенье. Хочу сообщить тебе вот о чем: вчера в здешнем «Фольксхаузе» («Народном доме») в самом интимите, то есть в присутствии Миссии, Бюро печати и администрации этого самого фольксхауза, произведена была проба половины фильмов, переправленных сюда из России...

Получилось следующее: за исключением первомайского (фильма)... и снятия памятника Александру III, фильмы заставили нас руками развести. Суди сам: первый фильм «Борьба с холерой в России» — показана только процедура предохранительной прививки и затем две руки, обливающие из крана самовара огурцы и еще какие-то ягоды; все остальное состоит из русских надписей с правилами «холерной» гигиены. Это для швейцарской публики. Второй, тщательно, видимо, изготовленный фильм крестного хода: громадная крестьянская толпа, хоругви, отдельно патриарх и т. д. Интересно кто счел нужным снять это и послать за границу? Третий фильм — 5-й Всероссийский съезд Советов — показаны лишь низы колонн Большого театра, броневики и патрули охраны и спины входящей публики. Самого съезда, т. е. залы заседаний, не показали. Четвертый фильм — «Похороны разбившегося летчика»: опять отдельно священник над гробом...

С точки зрения содержания: попы, крестный ход, упавшая от голода лошадь на улице Петрограда, пожар, уничтожающий склад съестных припасов. Ни одного митинга, ни одного рабочего собрания... Недурны детские игры Общее же впечатление таково, что невольно приходит в голову, что тут форменный сознательный саботаж...»

В общем, намечавшийся просмотр кинофильмов пришлось отменить, подыскав пристойную причину.

Описываемые события относятся уже к сентябрю 1918 года. Теперь пора выяснить,

КТО ТАКОЙ МЕСЬЕ ДОМАНСКИЙ!

Из Берна перенесемся в Москву осени 1918 года. Именно тогда — это произошло в начале сентября — вечером в дом номер 11 на улице Лубянке, где помещалась Чрезвычайная Комиссия, пришел Яков Михайлович Свердлов.

Председатель ВЦИКа знал, что Дзержинский болен. Свердлов и сам еле держался на ногах. Но Дзержин-

[1] М. Н. Покровский исследовал архив царской семьи Романовых.



Ф. Э. Дзержинский, С. С. Дзержинская с сыном в Лугано.

ский был так бледен и худ, что Яков Михайлович опешил. Питался Феликс Эдмундович отвратительно, спал урывками, тут же в кабинете, на железной кровати, покрытой простым солдатским одеялом.

Свердлов рассказал Ленину о состоянии Дзержинского, предложил немедленно отправить его за границу, в Берн, на лечение: о русских курортах говорить не приходилось — они были оккупированы белогвардейскими войсками. Владимир Ильич поддержал предложение Свердлова, и вопрос о поездке был решен. Дзержинский был официально направлен как дипкурьер.

Но почему в Берн?

Дело в том, что еще в начале сентября 1918 года в Берн из Цюриха прибыла жена Дзержинского Софья Сигизмундовна. Февральская революция застала ее с сыном за границей, в Цюрихе, где она тесно сблизилась с семьей Стефана Братмана-Бродовского, который был тогда секретарем русских эмигрантских касс. После отъезда Стефана в Берн для работы в советской миссии Софья Дзержинская заняла его место. Летом 1918 года в Цюрихе разразилась сильная эпидемия гриппа, унесшая много жизней. Заболел и малолетний сын Дзержинского Ясик. После его выздоровления Дзержинская решила переехать в Берн, где ей предложили должность секретаря советской миссии. Через Берзина Феликс Эдмундович установил регулярную переписку с женой. О встрече с семьей Дзержинский тогда не мог и мечтать. Но 24 сентября, после того, как вопрос о его поездке был решен, он пишет Софье Сигизмундовне:

«Итак, может быть, мы встретимся скоро, вдали от водоворота жизни после стольких лет, после стольких переживаний. Найдет ли наша тоска то, к чему стремилась?

А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...»

Поездка председателя ВЧК за границу была делом чрезвычайной сложности. Было решено, что Феликс Эдмундович сбреет бороду, волосы, изменит до неузнаваемости свой облик и так выедет в Швейцарию. Вместе с ним отправится его близкий друг и сотрудник, член коллегии ВЧК Варлаам Аванесов. О предстоящей поездке Дзержинского сообщили Берзину.

В начале октября Берзин под большим секретом сообщил Софье Сигизмундовне, что Феликс Эдмундович уже находится в пути.

Софья Сигизмундовна свидетельствует:

«А на следующий день или через день после 10 часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы с Братманами сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали насвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно «Фауст». Это был наш условный эмигрантский сигнал, которым мы давали знать о себе друг другу, когда приходили вечером после закрытия ворот. Феликс знал этот сигнал еще со времен своего пребывания в Швейцарии — в Цюрихе и Берне в 1910 году. Пользовались мы им и в Кракове. В Швейцарии был обычай, что жильцы после 10 часов вечера сами отпирали ворота или двери подъезда. Мы сразу догадались, что это Феликс, и бегом помчались, чтобы впустить его в дом. Мы бросились друг другу в объятия, я не могла удержаться от радостных слез... Он приехал... под другой фамилией (Феликс Доманский) и, чтобы не быть узнанным, перед отъездом из Москвы сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо».

В Берне Дзержинский заболел тяжелой формой гриппа. Берзин дал Софье Сигизмундовне отпуск и предложил ей вместе с мужем выехать в Лугано, славящееся своим очень здоровым климатом. Вот там, на причале озера Лугано, и произошла встреча Дзержинского с Локкартом...

Как и было предусмотрено расписанием, поезд из Лугано пришел в Берн 23 октября ровно в семь утра. Ян Антонович не должен был ехать на вокзал, послал Лейтейзена. Вид у Морися был радостно-взволнованный. Дзержинский это сразу заметил:

— Что с вами, Морис? Вы похожи на подгулявшего шляхтича в день свадьбы.

— Вы читали газеты? — спросил Морис.

— Вчера в Лугано читал, но там все старое.

— В Германии события. Газеты сообщают: то ли гарнизон в Киле бунтует, то ли матросы — телеграммы противоречивые. Но одна газета пишет, что матросы не хотят воевать против России.

— Какая газета? — спросил Дзержинский.

— «Бернер тагвахт».

— Эта и соврать может.

— И «Цюрхер цайтунг» пишет то же самое.

— Этой можно верить,— сказал Дзержинский.— Какие новости из Москвы?

— Как всегда, ждем курьера.

— Где Ян Антонович?

— На Шванейгассе... Как стемнеет, придет к вам домой. А у меня новость — еду в Лугано. Там на днях открывается съезд левых социалистов.

— Знаю, наслышан, — рассмеялся Дзержинский. — Съезд считается чуть ли не закрытым, но об этом уже все воробьи на крышах Лугано чирикают, все газеты пишут и песню в честь съезда сочинили.

И, взяв в руки один чемодан, а другой передав Морису, двинулся к вокзальной площади, где стояли извозчики...

Вечером к Дзержинским приехал Ян Антонович с женой. Феликс Эдмундович выглядел пополневшим и посвежевшим, исчезли синяки под глазами и желтизна на бледном лице. И это с радостью отметил про себя Берзин.

Дзержинский рассказал об отдыхе, поездках в горы и лишь потом упомянул о встрече с Локкартом. Берзин насторожился. Газеты, падкие на всякую сенсацию, ничего не сообщали о том, что Локкарт в Швейцарии.

— А он здесь, вероятно, инкогнито, как и я; не хочется ему отвечать на вопросы корреспондентов. Ведь они его облепят, как мухи, а рассказывать о своем провале кому охота,— заметил Дзержинский.

— Ты уверен, что он тебя не узнал? — спросил Берзин.

— Конечно, уверен. Иначе он бы мне на шею бросился от радости,— усмехнулся Дзержинский.

— Ну, а как бы ты поступил, если бы Локкарт все же узнал тебя? Полицию ты не стал бы звать на помощь, подними он крик?

— Локкарт действовал бы без крика.

— Ну, а все же?

Дзержинский отшутился:

— Позвал бы тебя на помощь. Ты, как посол, обязан защищать граждан своей страны... А если признаться, то сам не знаю, как действовал бы. Решения в таких случаях приходят в самый последний момент и бывают весьма неожиданные. Ну, бог с ним, с Локкартом. Скажи, как тебе здесь живется, как чувствуешь себя?

— Как чувствую? Непризнанный посол непризнанной страны. Пока терпят. А дальше видно будет... А что касается тебя, то я хотел бы знать, что ты уже в Москве...

Аванесов отвел опасения Берзина:

— Слушай, дорогой Ян Антонович, как его можно узнать? Феликса Эдмундовича родная мама не узнает. Все сделано как следует. Я бы с ним иначе не поехал. Слушай, друг, я ведь головой за него отвечаю, а мне моя голова дорога. Она тоже не две копейки стоит... И вообще полагается отметить такую счастливую встречу. Возражений нет и быть не может,— закончил он категорически.

Пока Софья Сигизмундовна накрывала на стол, Берзин рассказал Дзержинскому о последних событиях. Газеты сообщали самые противоречивые новости и опровергали одна другую, но сквозь этот поток прорывалось главное: в Германии нарастают важные события, что-то происходит и в Австро-Венгрии, как будто бы начались волнения в Будапеште.

— От Владимира Ильича есть новости? — спросил Дзержинский.

— Москва молчит. Курьера жду каждую минуту.

— А мы ждать не будем, завтра же едем домой,— сказал Феликс Эдмундович.

Он подошел к окну. Через опущенные жалюзи взглянул на тускло освещенную улицу. Острым глазом сразу заметил человека, прижимавшегося к стене у подъезда дома на другой стороне улицы.

По застывшей фигуре Дзержинского Аванесов понял, в чем дело, мягко ступая, приблизился к окну, тихо сказал:



Морис Гавриилович Лейтейзен.

— Шпик!

— Очевидно. Но кто послал? — как бы про себя заметил Дзержинский.

В комнате наступила тишина. Ее нарушил Берзин:

— А не рук ли Локкарта сие дело? — спросил он.

— Не думаю,— ответил Феликс Эдмундович.— Местная работа. Демократия демократией, а полиция полицией.

Софья Сигизмундовна разволновалась, хотела погасить свет. Дзержинский остановил ее:

— Не надо, Соня!

Она подошла к окну, разглядела человека, прижавшегося к стене у подъезда, сказала:

— А этот шпик не первый раз торчит здесь.

— Почему вы мне не сказали? — спросил Берзин.

— Я не придала этому значения. Торчит и пусть торчит. Как у нас в России было: вроде «горохового пальто» или переодетого жандарма. Ведь у них служба такая.

— Вы решили ехать завтра? — спросил Берзин у Дзержинского.

— Да.

— Ни в коем случае. Прошу отложить поездку на два дня,— решительно сказал Ян Антонович.

— А что это даст? — ответил Дзержинский.— В подобных ситуациях решает внезапность.

— Постараюсь выяснить, куда тянется нитка.

Аванесов поддержал Берзина, и отъезд было решено отложить на два дня.

Вечером следующего дня на наблюдательном пункте у дома наискосок от квартиры Дзержинской не появился никто. Это, конечно, не значило, что там больше никто и не появится, а тем более не было никакой уверенности, что за домом нет слежки. Неужели стало известно, что здесь находится Дзержинский? Эта мысль не давала покоя Берзину. Как и Феликс Эдмундович, он был убежден, что Локкарт не имеет отношения к внезапной слежке. Но в чем же тогда дело? О приезде Дзержинского на лечение знало только несколько ближайших сотрудников. В этих



Алексей Сергеевич Черных.

людях Ян Антонович был уверен так же, как и в себе.

Однако Берзин не знал, что в здании миссии работает провокатор и что он был внедрен сюда разведкой Антанты.

Кто же он?

Берзин писал Владимиру Ильичу, что в канцелярии миссии «работают главным образом бывшие латышские стрелки». Это было именно так. Но, кроме латышских стрелков, прибывших вместе с Берзиным, людей бесконечно преданных революции, самоотверженно защищавших ее, в качестве обслуживающего персонала на работу в миссию в Берне было взято еще несколько человек из тех, кого Берзин отправил в Россию. Одним из них был человек, назвавшийся латышом, политэмигрантом, якобы бежавшим в 1914 году от царского произвола. Он заверял, что собирается возвратиться на родину. Его взяли на техническую работу в канцелярию. Предательство его выявилось позже.

Отъезд Дзержинского нельзя было больше откладывать. Ян Антонович поручил Морису взять два билета на экспресс Берн — Берлин и в этот же вагон, но в другое купе — еще один билет, чтобы Морис сопровождал гостей до германской границы.

25 октября 1918 года Дзержинский и Аванесов выехали из Берна в Советскую Россию.

ТРУДНЫЕ ДНИ

После отъезда Дзержинского Берзин с волнением ждал вестей. Морис возвратился в Берн через два дня и сообщил, что гости благополучно пересекли границу.

Теперь в советской колонии ждали других вестей — из Германии и с Балкан. Вести приходили хорошие, ободряющие, и это вызывало радостное оживление. Да и дело с отправкой революционных эмигрантов и пленных солдат в Советскую Россию шло довольно успешно. К осени 1918 года Ян Антонович зарегистрировал тысячного солдата, отправленного на родину.

Приближалась первая годовщина Октябрьской революции. Фриц Платтен и его ближайшие друзья склонили правление социал-демократической партии Швейцарии торжественно отметить это событие, как «имеющее всемирно-историческое значение», выпустить праздничный номер газеты. Особый пункт постановления, принятого социал-демократами, гласил: направить приветствие советскому народу и «неутомимому труженику, вождю русской революции товарищу Ленину», ознаменовать первую годовщину Октября митингами и собраниями в знак солидарности с революционным пролетариатом России.

Берзин и Платтен сообщили в Москву об этом решении. Исполком Московского губернского Совета сразу же направил швейцарским социалистам приветственное письмо, пригласил делегацию на празднование Октября. В послании Москвы говорилось: «Наши друзья — швейцарские пролетарии — тем более будут для нас дорогими гостями, что их прекрасная родина давала приют нашим товарищам, вынужденным под гнетом самодержавия жить в изгнании».

Настроение в советской колонии было приподнятое. Валлениус и Лейтейзен поехали в горы, привезли пихтовых и еловых ветвей, украсили большую комнату, где решили собраться на торжественное собрание. Урывками, во время редких пикников, на которые все вместе уезжали из Берна в горы, Аллан продолжал писать стихи, намеревался издать их после возвращения в Москву. В канун праздника закончил книгу стихов, написал посвящение Алисе:

Вдали от Родины, вдали от очага родного,
Живем надеждой мы на мир грядущий,
И не отступим мы от нашей клятвы,
Отдав борьбе и кровь и жизнь!

На моем столе лежит эта небольшая книжечка в бордовой обложке, изданная в Стокгольме в 1919 году. Она была обнаружена лишь летом 1974 года сыном Аллана Валлениуса Свеном. В ней — эпоха, чистый голос революции.

Вдали от родного очага Берзин и его сотрудники поистине не знали ни сна, ни отдыха. Валлениус и Лейтейзен каждую неделю отправляли в Москву обзор европейских газет и журналов, комплекты газет и книги.

Первого ноября Владимир Ильич писал Яну Антоновичу:

«Дорогой Берзин!

Получил много книг от Вас. Большое спасибо...

Лежите и лечитесь строго; жить Вы должны не в Берне, а в горах на солнце, где есть и телефон, и железная дорога, а в Берн посылать секретаря и ездить должны К Вам...

Крепко жму руку. Ваш Ленин».

Это было последнее письмо Владимира Ильича Берзину в Швейцарию. Курьер привез и записку от Дзержинского: Феликс Эдмундович сообщал, что вместе с Аванесовым благополучно добрался до Москвы. Но теперь уже не за горами был отъезд Берзина из Швейцарии.

2 ноября Шкловского вызвали к шефу политического департамента для переговоров. Шеф департамента извинился, что ему придется «беседовать на неприятную тему», предъявил категорическое требование, чтобы некоторые сотрудники миссии немедленно оставили пределы Швейцарии.

Все это не было неожиданным. Сразу же после решения правления социал-демократической партии Швейцарии отметить первую годовщину Октября «союзники» начали поход против акции солидарнос-

ти швейцарских трудящихся с Советской Россией. Бундесрат — парламент — объявил, что в отношении лиц, которые примут участие в революционных выступлениях, будут приняты самые решительные меры. В Цюрих были введены войска. Слух о преследовании советской миссии дошел до других городов, и там вспыхнули демонстрации солидарности.

А на Шванегассе, 4 жизнь шла своим чередом.

По-прежнему почти каждый день в Москву передавались сводки о положении в Западной Европе. В начале ноября Берзин отправил Ленину новую партию книг и газет. Очень хотелось получить весточку от Владимира Ильича, но курьера ждать не приходилось — в Москве и без того было много дел.

7 ноября утром все собрались в кабинете Яна Антоновича. Он пожелал соратникам веры в будущее и воли к победе до конца. Днем пришел Фриц Платтен с ворохом красных гвоздик. Он пожал всем руки, одарил цветами, а большой букет поставил в вазу. Все уселись вокруг стола и долго говорили о том, что волновало всех — о Москве, об оставленных там семьях, о будущем. Потом пришли какие-то неизвестные друзья, тоже принесли гвоздики и кипы газет, в которых были статьи, посвященные Советской России; в них было много теплых слов и братских приветов и пожеланий выстоять и создать новое общество, которое будет примером для всех людей на земле. Конечно, пришел и сапожник Каммерер. Он был в новом костюме с гвоздикой в петлице, просил передать привет «гери Ленин и фрау Крупская» и, уже уходя, не удержался и спросил, кто шьет Ленину ботинки на толстой подошве и вообще нужны ли ему там, в Москве, такие ботинки для прогулок в горы?

К вечеру пошел холодный дождь, погода испортилась, но в здание миссии приходили еще какие-то люди, поздравляли и приносили цветы. А кое-кто, не решаясь войти, оставлял цветы у входа.

Вечером все собрались за семейным столом. Зажгли свечи, и в их мерцающем свете гвоздики пылали, как звезды. Яна Антоновича попросили рассказать о скитаниях по свету. Он отшучивался, но его все же уговорили. Рассказывал он не о себе, а о тех, кого уже не было в живых, кто погиб в казематах Сибири. Потом Аллан Валлениус декламировал свои новые стихи. А Морис Лейтейзен, больше любивший наблюдать и слушать, чем говорить, сказал, что он прочитает рассказ Короленко «Огоньки» — о человеке, который темным осенним вечером плыл по угрюмой сибирской реке и вдруг на повороте, впереди, у темных скалистых гор увидал огонек, то исчезающий, то манящий своей обманчивой близостью. И когда прозвучали последние слова этой маленькой поэмы в прозе: «Но все-таки... все-таки впереди — огни!», в комнате стало совсем тихо и еще долго никто не хотел нарушать тишину. И вдруг в этой тишине Ян Берзин запел старинную песню политических каторжан, идущих на смерть:

> На гибель молча едем мы,
> Чуть брезжит свет сквозь полог тьмы.
> Восток кровавый светел.
> Здесь выпьем мы в последний раз
> За всех, за всех, кто прежде нас
> Смерть встретил...

Умолкли последние звуки песни, и снова наступила тишина. А гвоздики все пылали в мерцающем свете, как огромные звезды...

Утром 8 ноября на Шванегассе прибыл чиновник. Об этом «Правда» сообщила в следующих словах:



Фриц Платтен.

«Тов. Берзин был приглашен к президенту республики, который холодно и сухо передал ему, что Швейцария, к сожалению, должна прервать с нами наши деловые сношения (официально Советская республика не признана Швейцарией, существуют, следовательно, только деловые отношения), и предложил нам всем покинуть Швейцарию».

По всей Швейцарии разнеслась весть о высылке советской миссии из страны. Первым возвысил голос протеста Фриц Платтен. Он произнес в парламенте пламенную речь в защиту Берзина и его сотрудников, в защиту Советской России. Вместе с ним кампанию начали другие интернационалисты. Это был сигнал для всех трудящихся страны. На призыв ответили граждане города Цюриха. В бундесрат — Союзный совет — была направлена депутация социалистов в защиту миссии. Бундесрат не принял предложение Платтена отменить высылку Берзина, и тогда в Цюрихе 9 ноября была объявлена всеобщая забастовка. За Цюрихом последовали другие города, и даже консервативная романская Швейцария не осталась молчаливой: забастовала Женева. В Цюрих были введены шесть пехотных и шесть кавалерийских полков. В ответ рабочие воздвигали баррикады, начались бои, были убитые и раненые.

Напуганное размахом событий правительство ввело в стране военное положение. 12 ноября представитель политического департамента Петравичини позвонил в половине восьмого утра Шкловскому на квартиру и передал Берзину, чтобы миссия немедленно оставила пределы Швейцарии.

На сборы были даны одни сутки. Дети всех сотрудников были в Берне, а в Лезье за Юрой Покровским пришлось снарядить нарочного.

14 ноября рано утром сотрудники советской миссии выехали из Берна. Берзин, как моряк, ведущий лайнер сквозь бурное море, до последнего момента оставался на капитанском мостике и, покидая здание миссии, дал телеграмму Ленину: нас высылают!

В «Правде» появилось заявление Ленина:

«...Нашего представителя... швейцарское правительство выслало из Швейцарии, и мы знаем, чем это вызвано. Мы знаем, что французские и английские империалисты боятся того, что он посылал нам каждый день телеграммы и рассказы о митингах в Лондоне, где рабочие Англии провозглашали: «Долой британские войска из России!» Он сообщал сведения и о Франции...»

Накануне исчез провокатор. Он еще должен был отработать свои сребреники. Об этом впоследствии рассказала Софья Сигизмундовна Дзержинская, которая вместе с Марией Братман еще несколько месяцев оставалась в Швейцарии:

«С болью в сердце попрощалась я с уезжавшими товарищами. Той же ночью полиция произвела у меня и у Марии Братман обыск, во время которого у меня взяли все дорогие мне письма Феликса...

Вскоре после обыска меня вызвали в полицейское управление на допрос. Меня обвиняли в том, что вечером и ночью накануне высылки миссии я жгла «компрометирующие» бумаги миссии. Это было правдой. Я действительно по поручению своего начальника Шкловского отобрала все секретные документы и сожгла их в печке в комнате, где работала.

Как потом оказалось, один из технических работников миссии, политэмигрант-латыш, был провокатором и после высылки миссии сообщил швейцарским властям разные данные о работниках миссии, оставшихся в Берне. Он знал, видимо, и то, что я уничтожала документы миссии. К счастью, он не знал, что я жена председателя ВЧК, не знал он и о приезде Феликса в октябре в Берн».

Кортеж из черных лимузинов и грузовиков медленно продвигался на север к германской границе. Вот свидетельство человека, который все это пережил. Я сижу в квартире дома по Астаховскому переулку в Москве, и дочь Берзина, Майя Яновна, рассказывает: «В жизни бывают впечатления, которые почему-то всю жизнь сохраняются в памяти с удивительной отчетливостью и подробностью. Так мне запомнился наш выезд из Берна... Был холодный промозглый день. Нас подняли очень рано, мы вышли во двор. Всех сотрудников миссии, жен и детей разместили на одиннадцати черных легковых машинах, а вещи положили на два грузовика. Я находилась в машине вместе с родителями. Нас повезли к германской границе, тщательно объезжая города. А один небольшой городок не удалось объехать. Помню, что все лавки там были закрыты. Даже мелкие торговцы объявили забастовку в знак протеста против высылки советской миссии. Улица, по которой мы проезжали, заполнилась грохотом — это демонстративно гремели и стучали опускаемыми шторами. Нам приветственно махали руками.

Потом мы свернули на проселочные дороги, чтобы не вызвать протеста в других городах. Нашу колонну сопровождал конный отряд драгун во главе с офицером. Так мы и ехали окольными дорогами. Сбились с пути и оказались в каком-то болоте. Машины застряли. Помню, как отец сказал: «Сейчас пойду и устрою скандал офицеру». Он так и сделал. Мы кое-как вылезли из болота и направились к германской границе, куда приехали вечером.

Нас разместили в каком-то доме: мужчин в одной комнате, женщин — в другой. Спать пришлось на соломе. Под окнами всю ночь слышались пьяные голоса: «Завтра этих большевиков поведем на расстрел». Мама всю ночь не спала, подбадривала приунывших женщин».

После трехсуточного ареста сотрудников советской миссии переправили в Германию, здесь они выехали к советской границе, где встретились с советским полпредом Иоффе. Его также выслали из Германии. На границе всех разместили в одном вагоне, но немецкие власти все не хотели выпустить русских «пленников»... Поезд после долгих проволочек, переговоров, задержек наконец отправился в Москву и в конце ноября подошел к перрону Александровского (ныне Белорусского) вокзала столицы. Пробиваясь сквозь толпу мешочников, беспризорников, каких-то подозрительных людей, которыми кишел перрон, к вагону пробрались Михаил Николаевич Покровский, Александра Михайловна Коллонтай. Приехал встречать старых друзей и Марк Андреевич Натансон. Он уже был тяжело болен, опирался на палку, тяжело дышал, но радостно всех приветствовал.

И вот еще одно свидетельство о возвращении миссии. Свидетельство Яна Антоновича Берзина, опубликованное в «Правде»:

«В Москве к приходу поезда на вокзал был послан товарищ, который передал мне, что Владимир Ильич просит меня приехать прямо с вокзала к нему, если только мое здоровье это позволяет.

Он меня встретил чрезвычайно радушно, помню, мы опять с ним расцеловались. Отмечаю это потому, что, по моим наблюдениям, Владимир Ильич не любил подобных изъявлений чувств, и я не видел, чтобы он когда-либо с кем-либо поцеловался. Но в его отношениях ко мне я всегда чувствовал не только товарищеское, но и какое-то отцовское чувство.

В другой комнате шло какое-то заседание, куда должен был пойти и Владимир Ильич, но он просил подождать его, долго не отпускал меня. Он подробнейшим образом расспрашивал о нашей швейцарской работе,.. о росте революционного движения в странах союзников и т. д. А когда я как-то в разговоре спросил о его ране, где именно у него застряла пуля, он заявил с какой-то застенчивостью:

— Это все пустяки, легко сошло. Рукой только двигать не очень удобно...

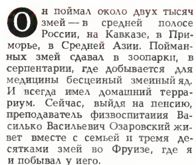
И снова вернулся к разговорам о мировой революции».

25 ноября 1918 года открылось заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Ян Антонович выступил с отчетом. Это был первый отчет советского посланца о деятельности за рубежами нашей страны. Он рассказал обо всем, что произошло за шесть коротких месяцев, и передал привет швейцарского пролетариата русским рабочим.

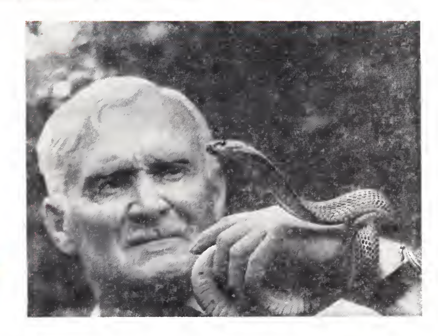
В зале сидели многие большевики, недавно возвратившиеся из эмиграции. В зале сидели рабочие, солдаты из окопов гражданской войны. И крестьяне в домотканых свитках и лаптях, пробравшиеся в столицу через фронты кто в теплушках, а кто на крышах теплушек. И старики из «Народной воли» и Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», помнившие Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, помнившие дореформенную Россию, раздувшие первую искру в горниле народного гнева.

Завершился первый год революции. Был ноябрь, месяц, когда пахарь, кормилец рода человеческого, собрав плоды своих тяжких трудов, думает о грядущих всходах.





МОЖНО ЛИ ЛЮБИТЬ ЗМЕЙ?



Он поймал около двух тысяч змей — в средней полосе России, на Кавказе, в Приморье, в Средней Азии. Пойманных змей сдавал в зоопарки, в серпентарии, где добывается для медицины бесценный змеиный яд. И всегда имел домашний террариум. Сейчас, выйдя на пенсию, преподаватель физвоспитания Василько Васильевич Озаровский живет вместе с семьей и тремя десятками змей во Фрунзе, где я и побывал у него.

— Я люблю змей за красоту их окраски, необыкновенное изящество и грациозность движений, за мирный нрав,— говорит Озаровский.— Да, да, не удивляйтесь — именно за мирный нрав! Из всех змей Советского Союза, а их около шестидесяти видов, я знаю только одну, которая иногда первой нападает на человека. Это желтобрюхий полоз, змея хотя и крупная, достигающая нередко более двух метров, но совершенно не ядовитая, укусы ее безвредны. По своему поведению этот полоз — настоящий хулиган. Нанеся укус, он обычно бросается наутек. Этот полоз, очевидно, солидно подмочил репутацию остальных змей, как ядовитых, так и неядовитых, которые избегают конфликта с человеком и кусают его только в состоянии необходимой обороны.

Озаровский ведет меня в свой террариум. Вот семейство кубинских удавов: Сынок и Лолита. К Озаровскому они попали в плохом состоянии. Самка весила менее двух килограммов, у нее выпали зубы, но витамины спасли ее. Лолита употребляет в пищу белых и пегих крыс, Сынок предпочитает сирийских хомячков.

Под электрической лампой греются четыре гюрзы: самцы Папа и Таджик, самки Внучка и Ассоль. Озаровский открывает стеклянную дверцу террариума и достает Внучку. У нее ромбообразная голова, короткий раздвоенный язык, тонкая напряженная шея. Эта гюрза родилась в квартире Озаровских, в специальном инкубаторе с электрическим подогревом, который он сконструировал. Он получил в неволе уже второе потомство гюрз.

Какие только змеи не живут у Озаровского: тут и тигровый питон, и американский циклаграс, и иероглифовый питон, и полозшренка... Живет у Озаровского и пятилетняя кобра Кушка, пойманная на границе с Афганистаном. С ядовитой коброй связан у Озаровского случай, который едва не стоил ему жизни. Произошло это несколько лет назад. Ему привезли тогда самца кобры, которого уже на второй день Василько Васильевич начал брать в руки. В тот день он взвесил змею на безмене, потом кобра обвила его лицо, поползла по голой руке и вдруг, достигнув закатанного рукава рубашки, прокусила через рубашку руку.

Уложив кобру в террариум, Озаровский попросил жену срочно вызвать «Скорую помощь». Семь дней реаниматоры боролись за его жизнь, потом еще пять месяцев он ходил на перевязки...

— Не повлиял ли этот случай на ваше отношение к змеям? — спрашиваю Озаровского.

— Нет! За несколько дней до этого кобру привезли ко мне в матерчатом мешке. И мне думается, что закатанный рукав рубашки напомнил ей о малоприятном пребывании в мешке. Возможно, поэтому кобра и прокусила ненавистную ей материю...

— Как же вам удается приручать змей?

— Змеи избегают конфликта с человеком, а ядовитые змеи особенно не любят кусаться. Яд им нужен для добывания пищи, и они стараются расходовать его экономно. Мой метод приручения змей основан на знании законов их поведения и в основном не отличается от методов приручения других диких животных. Чем моложе животное, тем легче и быстрее оно приручается. Большое значение имеет впечатление, полученное змеей при поимке. Если во время ловли ее сильно напугали или причинили боль, это долго не забывается и барьер недоверия преодолевается с трудом. Неядовитые змеи приручаются просто. Нужно как можно чаще

На снимке: Озаровский со своей гюрзой Внучкой.

брать змею на руки, не обращая внимания на ее укусы, и ни в коем случае не дать ей «подумать», что ты ее боишься. Обращение со змеей должно быть вежливое, ласковое. Большинство неядовитых змей уже через несколько дней перестают кусаться.

— А ядовитые?

— Здесь нужен большой опыт, много терпения и, может быть, немного риска вначале, но зато какое удовлетворение получает истинный любитель змей, видя полное доверие с их стороны. Гюрза, например, приручается надежно, у нее хорошая память, ровный характер. В противоположность ей кобра почти не приручаема, всегда раздражительна и нервозна. Тем не менее почти каждую кобру можно брать на руки или находиться вблизи нее, потому что кобра больше других змей не любит кусаться. Все ее броски обычно ложны, и она наносит укус только в крайней степени раздражения, испуга. На ее странном характере и построены фокусы индийских заклинателей. Из всех змей, с которыми мне приходилось иметь дело, самым злым и кусачим оказался кубинский стройный удав. Уже при подходе к его клетке он шипел и открывал пасть, показывая свои длинные и острые, как иголки, зубы. Как бы осторожно я его ни брал, он успевал укусить меня три-четыре раза. Все удавы не ядовиты. Однако и он понял, что дружить со мною легче и приятней, чем воевать. Через пять месяцев он сделался необыкновенно кротким и очень любил обвивать мою руку, подолгу оставаясь в таком положении.

С утра до вечера Озаровский ухаживает за своими змеями. Одних надо купать, у других чистить террариумы, третьи начинают линять, четвертые болеют. В непрестанных заботах Озаровскому помогает его жена Клавдия Дмитриевна, зоотехник по специальности, а также его добровольный помощник Юрий Горшечников, который четырнадцатилетним школьником впервые пришел в этот дом. Отслужив в армии, Юрий вернулся во Фрунзе, стал слесарем-наладчиком, а каждый отпуск посвящает теперь ловле ядовитых змей. Это не единственный случай — уже многих молодых людей Озаровский увлек изучением змей.

На прощание, осмелев, я попросил Озаровского познакомить меня поближе с самой дружелюбной его змеей. Он достал из террариума тигрового питона Машку и обвил ее вокруг моей шеи. Я ощутил гладкую, шелковистую кожу змеи, которая вела себя так, словно искала моего тепла, моей ласки. Потом Озаровский опустил Машку в ванну с теплой водой и начал тереть ее намыленной губкой — я пришел к Озаровскому в «банный день».

Э. ЗВОНИЦКИЙ



В тот дождливый день ребята из экспедиционного отряда спешили возвратиться в лагерь и, признаться, не очень-то смотрели по сторонам. И вдруг первые внезапно остановились. Перед ними зиял немецкий дзот. Из амбразуры торчало ржавое дуло пулемета. Дзот огораживали ряды колючей проволоки. Рядом—останки советских воинов, рванувшихся на вражеский огонь...

Девятнадцать безымянных героев. Ребята тщательно осмотрели место схватки. И вот найдена алюминиевая ложка с фамилией хозяина, боевой медальон, надписанная фляга...

Пятнадцать лет назад ученики 739-й московской школы отправились в свой первый поход. Тогда военрук Юрий Робертович Барановский повел их на Волхов, где сам воевал в сорок втором. За прошедшие годы красные следопыты побывали в Карелии, в Заполярье, в глухих лесах Белоруссии, на Псковщине.

В своей школе на улице Сальвадора Альенде, 6, они создали музей «Хотят ли русские войны».

Светится в полутьме зала огромная звезда во всю стену. В нее вмонтированы стволы винтовок, фляга, солдатские каски. Рядом с залом Великой Отечественной войны — экспонаты русского древнего быта и искусства, тоже собранные в походах.

Об огромном уважении и интересе к родной истории свидетельствуют стенды этого музея, оформленные с профессиональной строгостью и продуманностью.

— Мы хотели, чтобы, работая над созданием музея, наши ребята глубже поняли героизм и богатство духа родного народа,— говорил директор школы Александр Иванович Конодо.

Уже пятнадцать «поколений» школьников участвуют в создании музея.

К. АНДРЕЕВА

